

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Юрий Герман Подполковник медицинской службы

1

Поезд из города в Москву уходил по расписанию в двадцать один тридцать, но Жакомбай и старшина-шофер Глущенко собрались оформлять литер Левину с утра. Жакомбай считался в госпитале по таким делам первым человеком, а у Глущенко на станции были знакомые: весовщица в багажной конторке и Тася, уборщица вокзала. На всякий случай Жакомбай взял с собой и подарки: филичевый табак и дюжину коробков спичек. Анжелика строго-настрого приказала оформить литер Александру Марковичу только в мягкий вагон.

– Человек едет не просто отдохнуть, – говорила она, провожая «виллис», – человек едет показаться врачам, привести нервы в порядок. Воюем не первый день, работы у него хватало, это надо понимать. И не мальчик он, человек в годах, не то здоровье, чтобы, как обезьяна, по лестнице на верхнюю полку лазить...

– Ясно! – согласился Жакомбай.

Глущенко нетерпеливо поерзал за рулем, крепче завязал тесемки шапки, спросил:

– Разрешите быть свободным?

– Давайте! – велела Анжелика и, проводив взглядом госпитальную машину, пошла в ординаторскую.

Сам Александр Маркович в это время получал положенное по вещевому аттестату новое обмундирование. Портной, краснофлотец Цуриков, человек хвастливый и любящий поболтать, стоя за спиной Левина в сумерках вещевого склада, говорил:

– Вы на меня надейтесь, товарищ военврач второго ранга. Хотя времени и в обрез, каждая минута поджигает, но порядочек будет. Крой – у меня верно слабоват, товарищу Зубову я кителек подпортил, но быстрота – это у меня есть. Я – узкий специалист, брючник, от этого случаются неполадки. Только уж вы надейтесь – подгоню за милую душу. Под шинельку плечики подкинем, кителек тоже по фигуре подтянем, чтобы талия облитая была. По столице нашей родины пройдется, Цурикова добрым словом попомните...

Продовольственный аттестат, командировочное предписание и деньги Левину принесли в кабинет. Погодя запищал зуммер телефона, и Александр Маркович услышал голос командующего:

– Значит, собираетесь, товарищ военврач?

– Да вроде бы на товсь! – ответил Левин.

– Что ж, добро, добро. Ну, привет Москве, давно я там не был. И попрошу вас – насчет своего здоровья подзаймитесь. Заместитель ваш еще не прибыл?

– Нет, жду, товарищ командующий.

– Он – московским едет?

– Московским...

– Так, так, – задумчиво произнес командующий. – Ну, счастливого пути...

В голосе генерала Левину почудились какие-то странные нотки, но он тотчас же забыл об этом, потому что пришла Лора и принесла загадочный талончик в военфлотторг. По ее словам, этот талончик прислал начштаба Зубов с посыльным краснофлотцем.

– Такие талончики героям дают! – блестя глазами и радуясь, говорила Лора. – Честное

слово, товарищ военврач второго ранга, я – вот точно знаю. Тут консервы хорошие, печенье, папиросы «Фестиваль» пять пачек, мыло туалетное и по шестому номеру чего-то, я забыла чего. Давайте деньги, сбегаю принесу...

Она убежала. Он сидел за своим маленьким письменным столом и ждал. Наступило время обеда – он слышал, как няньки разносили первое, потом кашу с мясом, потом компот. Не выходя из своего кабинета, он всегда знал, что делается в госпитале; знал ровный, спокойный ритм обычной жизни и тотчас же угадывал любое происшествие.

Стало темнеть – заполярный, короткий день кончался. С треском ударили зенитки: в свое обычное время прилетел фашист – поглядеть, что делается в гарнизоне. Левин взглянул на часы – точно, этот господинчик всегда прилетал аккуратно. Потом постучал Цуриков – примерять шинель. Лицо у него было озабоченное.

– Не слышали, товарищ военврач? – спросил краснофлотец.

– Чего именно?

– Разбомбили московский-то...

– Поезд, что ли?

– Сильно разбомбили. Четыре вагона в щепки. Лоухи, такое место. Всегда они там накидываются... Попрошу руку поднять, товарищ военврач, проймочку вам подправлю...

Он что-то чертил мелом на шинели и болтал, а Левин думал: неужели Белых попал в бомбежку? Такой славный малый и хирург толковый! На него спокойно можно было оставить госпиталь...

Анжелика принесла хлеб на дорогу, консервы, масло. Вернулась Лора из военторга. Левин, закулив папиросу «Фестиваль», сказал, ни к кому не обращаясь:

– Странное у меня чувство – словно я никуда не поеду. Что там с поездом, не слышали?

Лора и Анжелика переглянулись.

– Да ну, я же вижу, что вы перемигиваетесь, – немножко рассердился Александр Маркович. – Разбомбили поезд? Воскресенская, я у вас спрашиваю.

Лора кивнула.

В это мгновение позвонил Шерemet. Александр Маркович недовольно покривился и встряхнул телефонную трубку, точно это могло чему-нибудь помочь.

– Левин? – орал Шерemet. – Салют, Левин! Неприятности слышал? Белых не приедет. Попал в это самое дело, догадываешься? Сильно попал.

– Жив? – спросил Александр Маркович. Шерemet что-то кричал насчет госпиталя и насчет того, чтобы Левин сдавал дела Баркану и отправлялся в Москву.

Александр Маркович не слушал: он видел перед собою Белых, словно расстался с ним вчера. Широкие плечи, большая теплая рука, умный взгляд спокойных серых глаз.

– Приказ пришлю с посыльным! – кричал Шерemet. – А ты там быстренько проверни эти формальности.

– Баркану я госпиталь сдать не могу! – сухо произнес Левин.

Шерemet разорался надолго. Александр Маркович держал трубку далеко от уха. Он все еще думал о Белых. Что с ним? Может быть, все-таки жив? Черт возьми, это же талантливый человек, настоящий человек. От него многого ждали...

– Ты меня слышишь, товарищ Левин? – кричал Шерemet. – Ты слышишь?

– Ну, слышу! – угрюмо отозвался Александр Маркович.

– Я твои взаимоотношения с Барканом расцениваю как нездоровые! – кричал Шерemet. – У тебя характер тяжелый, ты сам это знаешь. А мне командующий голову срубит, если ты не уедешь. Короче – я с себя снимаю ответственность. Вы слушаете меня, военврач Левин?

Александр Маркович положил трубку, взял еще папироску, сказал Анжелике:

– Ставьте меня обратно на довольствие. Пока я никуда не поеду.

– То есть это как же понимать? – спросила Анжелика.

– Очень просто. Я – остаюсь.

Вернулись Жакомбай и Глущенко, у обоих были виноватые лица.

– Поезд сегодня не отправится, – сообщил Глущенко, – подвижной состав выведен из строя, надо ждать новые вагоны из Вологды и Архангельска.

– На, возьми папиросы «Фестиваль»! – сказал Левин Глущенко. – Видишь, они с серебряной бумагой, будешь в столовой официанткам показывать – какие старшина папиросы позволяет себе курить. И ты, Жакомбай, возьми пачку. Бери, бери, не стесняйся, я ведь такие не курю...

Потом строго спросил:

– А как там насчет сцепления, Глущенко? Перепускаете?

И так как старшина промолчал, то Александр Маркович погрозил ему пальцем. А когда они уба ушли, он сказал Анжелике:

– Конечно, у меня язва. Пошлая язва. Вы знаете, как я питался в детстве? Моя мама варила мне суп на неделю, я учился в гимназии в другом городе, не там, где жили мои родители... процентная норма... противно рассказывать. И этот суп моя мама наливала в такую большую банку – вот в такую...

Левин показал руками, какая была банка.

– Ну, естественно, первые три дня я кушал нормальный суп, а вторые три дня я кушал прокисший. Я же не мог его выбросить, потому что это все-таки был суп. И я его кушал...

Он грустно улыбнулся, вспоминая детство, вздохнул и добавил:

– А на кровати мы, мальчишки, спали шесть человек. Собственно, это и не кровать была: козлы, доски, тряпье. И спали мы не вдоль, а поперек. И я, представляете себе, Анжелика, я очень удивился, когда узнал, что кровать, в сущности, предназначена для одного человека и что есть дети, которые спят на своей собственной кровати...

Не торопясь он открыл кран, вымыл свои большие крепкие руки с плоскими, коротко остриженными ногтями, насухо обтер их полотенцем, привычно натянул халат и, взглянув на часы, отправился в свой обычный вечерний обход. И опять наступила прежняя, размеренная жизнь – будто Александр Маркович и не собирался ехать в Москву.

2

В пятницу явился новый повар – пожилой человек с длинным висячим носом и очень белым лицом в морщинах и складках. Назвавшись Онуфрием Гавриловичем и рассказав, где он раньше работал, будущий госпитальный кок положил на стол перед Александром Марковичем пачку своих документов – довольно-таки просаленных и потертых. Левин медленно их перелистал и вздохнул.

– Вчера увезли в тыл нашего Бердяева, – сказал он. – Прекрасный был работник, золотые руки. И дело свое знал на удивление. Можете себе представить, простую макаронную запеканку готовил так, что раненые приходили в восторг. Надо же такое несчастье – упала бомба, и человек остался без ног.

– Всякому своя судьба, – отозвался Онуфрий. Левин еще полистал засаленные бумажки и спросил Онуфрия, знает ли он систему госпитального питания.

– А чего тут знать, – ответил Онуфрий, – тут знать, товарищ начальник, нечего. Я французскую кухню знаю, кавказскую знаю, я у самого Аврамова Павла Ефимовича, шефа-кулинара, служил, лично при нем находился. Не то что макаронную запеканку готовили или там суп-пейзан-крестьянский, была работенка потруднее – справлялись. Рагу, например, из печенки делали под наименованием «дефуа-гра». Или, например, соус «рокамболь»... Онуфрий грустно поморгал и подергал длинным носом. На Левина «дефуа-гра» и «рокамболь» не произвели впечатления.

– Это здесь не понадобится, – сказал он, – тут пища должна быть простая, вкусная и здоровая. У нас госпиталь, лежат раненые, аппетит у них часто неважный, наше дело заставить их есть. Понимаете?

Повар кивнул.

– Справки свои можете взять, – добавил Левин и поднялся. – Я тут написал, как и где

вам оформляться. Вас почему в армию не взяли?

Онуфрий объяснил, какая у него инвалидность, и ушел, а доктор Левин отправился к Федору Тимофеевичу. Инженер лежал на полу и наклеивал на костюм широкую, в ладонь, полосу вдоль карманов с молниями.

– Усилить надо, – сказал он Левину, – дернет человек молнию и разорвет основание. Вообще, все это следовало бы делать поплотнее, посолиднее. Вы не думаете?

Аккуратно приладив вторую полосу, он сел по-турецки, закурил папироску и стал рассказывать, как, по его мнению, надобно проводить нынешние испытания. Они оба выйдут в залив на шлюпке, Федор Тимофеевич наденет на себя спасательный костюм и постарается выяснить, сколько времени летчик сможет продержаться на воде при минусовой температуре. Александр Маркович будет тут же и своими медицинскими способами выяснит, все ли благополучно с тем человеком, который плавает в воде. Грелки принесут через час, начальник тыла подписал требование.

– А ну-ка, дайте-ка я это надену, – сказал Левин.

Для того чтобы удобнее было одевать Левина, инженер Курочка встал на табуретку. Обоим им было смешно и весело, когда Александр Маркович ходил по комнате из конца в конец в спасательном костюме из прорезиненной ткани. Костюм шипел и шелестел, и было похоже, что Левин спустился в этом костюме с Марса.

– А что, – сказал Левин, – очень удобно. Нигде не тянет, тяжести не чувствуешь. Вот я сижу на стуле в узком пространстве кабины пилота. Ну-ка!

Он сел на табуретку между столом и стеною и стал делать такие движения руками и ногами, какие, по его мнению, делает пилот, управляя самолетом.

– Притисните меня, пожалуйста, посильнее столом, – попросил он, – а то слишком свободно.

Курочка притиснул, и Левин опять стал шевелить руками и ногами. Пока он так упражнялся, Курочка читал газету.

– Послушайте, доктор, – вдруг сказал он, – а вы знаете, что тут написано?

Левину было не до газеты. Он воображал в это мгновение, как летчик в спасательном костюме делает поворот. Потом он как бы нажал гашетку пулеметов. Он не очень-то знал все эти штуки, но мог вообразить!

– Движений нисколько не стесняет, – очень громко сказал Левин, как бы подавляя голосом грохот винта, – вы слышите, Федор Тимофеевич? Вот я делаю переворот. Вот я делаю иммельман или как оно там называется. Вот я страшно размахиваю руками и ногами в тесном пространстве кабины, и хоть бы что. Очень легкая, удобная, прекрасная вещь...

Курочка, улыбаясь, смотрел на доктора. Кто бы мог подумать, что этот человек на шестом десятке будет играть в летчики. Впрочем, он не играл, у него просто-напросто было воображение, и он мог легко представить себе, что он – пилот, летящий над холодным морем.

– Это все прекрасно, – сказал Курочка, – движения движениями, а вот как будет с испытанием на воде? Начнет обмерзать и трескаться, тогда мы с вами поплачем. Ну ладно, хватит, идите прочитайте газету.

Левин снял костюм, обдернул на себе китель с серебряными нашивками и взял со стола газету. Под общей рубрикой "Орденом Красной Звезды" была напечатана его фамилия с именем, отчеством и званием. Курочка смотрел на него сбоку.

– Послушайте, наравне с летчиками! – сказал Александр Маркович.

Курочка взял Левина за плечи и поцеловал три раза в щеки.

– Поздравляю, доктор, – сказал он, – поздравляю вас с первым орденом в этой великой войне. Очень за вас рад.

В это время начали бить зенитки, и дежурный, просунув голову в дверь, сказал сухо:

– В убежище, товарищи командиры, в убежище!

Тотчас же фашисты сбросили четыре бомбы, и с потолка посыпалась штукатурка. Погас свет. Курочка зажег спичку и закурил папироску. От его папироски прикурил Левин.

– Пожалуй, пойду в госпиталь, – сказал он сердито, – мало ли что... Ох, как мне надоели эти штуки!

Курочка светил ему спичками, пока он надевал шинель и фуражку. На улице были сумерки заполярного полдня. Бухая сапогами, навстречу Левину прошел комендантский патруль. Оглушительно защелкали зенитки. Подул ветер, запахло гарью.

Левин посмотрел вверх, но ничего не увидел, кроме серых туч и разрывов – круглых и аккуратных. Потом вдруг завыл пикирующий бомбардировщик, и еще четыре бомбы с отвратительным свистом упали в залив. Левин прижался к стене. Фуражка с него слетела.

"Наверное, опять трубы лопнули и комнату залило водой, – с тоской подумал он, – теперь поставят насос и будут качать".

В госпитале он сделал замечание военврачу Баркану. Замечание было очень вежливое, но взъерошенный Баркан сразу насупился и ответил в том смысле, что он уже далеко не мальчик и в нотациях не нуждается. У них вообще были трудные отношения, и Левина это огорчало. В сущности, Баркан был недурным врачом, но совершенно не умел подчиняться. И опыт у него был за плечами немалый, и школа недурная, но самонадеянность и замкнутость Баркана не давали Левину возможности сблизиться с ним. А теперь он совсем надулся.

"Наверное, Шеремет насплетничал, что я отказался сдать ему госпиталь, – подумал Левин. – Конечно, это обидно, а все-таки я не мог. Э, к черту!"

Но когда в ординаторскую пришла Варварушкина, Левин пожаловался ей сам на себя.

– Слушайте, Баркан обижен, – сказал он. – И справедливо обижен. Шеремет, наверное, сболтнул ему насчет моего отъезда в Москву – помните ту историю? Но я же, честное слово, не мог. Вы меня понимаете? Белых – это одно, а Баркан – это другое. И все-таки я в чем-то виноват. Он неправ, но я начальник и многое зависит от меня, многое, если не все. Иногда дерните меня за локоть, если я слишком раскричусь, будьте так добры, Ольга Ивановна. И как вбить в мою голову, что Баркан – обидчивый человек? Он служил в таком городе, где считался непререкаемым авторитетом, а тут некто Левин его учит. Надо же быть хоть немножко психологом.

И, встретив Баркана через час в коридоре, заговорил с ним весело, как ни в чем не бывало. Но Баркан на шутку не ответил, втянул квадратную голову в плечи и сказал, что ему некогда.

Потом позвонил телефон, и военврачу второго ранга Левину А. М. передали, что нынче же, в четырнадцать ноль-ноль, на большом аэродроме в помещении старых мастерских командующий будет вручать правительственные награды.

Было двадцать минут второго. А еще надо было побриться, вычистить новый китель и заложить бумажку в калошу, чтобы она не падала. И как туда добраться за десять минут?

3

Похожий на огромную отощавшую птицу, шаркая ногами в спадающих калошах и на что-то сердясь, он сунул сухую руку Боброву, потом Калугину, потом старшине Пялицыну и снял шапку, не замечая, как весело все на него поглядывают и сколько он доставляет людям удовольствия своими вечно штатскими поступками, крикливыми, каркающими замечаниями и добродушно-виноватой улыбкой на изборожденном морщинами, дурно выбритом лице.

– Можете себе представить, – сказал он Калугину, – вчера опять отправил в Ленинград письмо своему квартирному уполномоченному. На прошлое ответа нет и по сей день. Вы ведь тоже ленинградец, я помню, мы встречались.

– Я – москвич, – ответил Калугин, – живу в Москве на Маросейке.

– Постарели, – сказал Левин, – с тех пор очень постарели.

– С каких это "тех пор"?

– А с тех, – осторожно, с робкой улыбкой произнес Левин. Он уже догадывался, что опять путает.

– С каких? – допытывался безжалостный Калугин.

– Ну ладно, проваливайте от меня, – воскликнул Левин, – у меня не тот возраст, чтобы шутить шутки.

И доктор слегка толкнул Калугина в плечо всем своим узким телом с такою силой, что долго сам раскачивался, потеряв равновесие.

– А меня вы помните, товарищ военврач? – спросил летчик Бобров.

– Еще бы не помнить! Ваша фамилия Мельников. Нет человека, которого бы не знал доктор Левин, если, конечно, этот человек принадлежит к славному племени крылатых. Вы – Мельников!

– Ошибаетесь, товарищ военврач!

– Я ошибаюсь? Я?

– К сожалению, товарищ военврач.

– Вы мне все надоели, – сказал Левин. – Добрые десять лет со мною шутят этим способом. Нельзя ли придумать что-либо поостроумнее. У кого есть папиросы?

– Папиросы есть у меня, – сказал Калугин, – но тут курить, доктор, не разрешается. Это во-первых. А во-вторых, вы уже в строю. Придется маленько потерпеть.

– Теперь я вспомнил вашу фамилию, – воскликнул Левин. – Вы – Калугин. Военинженер Калугин. Посмейте возразить! А он Мельников. И пусть не болтает глупости.

С видом победителя он вышел из строя и прошелся вдоль машин, предназначенных к ремонту. Один истребитель с искореженным винтом привлек его внимание. Он покачал головой, потом потрогал рваные раны на фюзеляже машины. Старое лицо его сделалось скорбным.

– Посмотрите, как они дерутся нынче, – сказал он, – броня превращается в рваную тряпку. А покойный Зайцев мне рассказывал, что в империалистическую имел место случай, когда один штабс-капитан расстрелял все патроны, очень рассердился и бросил свой пистолет в другого летчика, в австрийца, просто в голову. Разные бывают войны.

– Встаньте на место, доктор, – позвал Калугин.

Вошел начальник штаба – очень бледный полковник Зубов, и сразу же все подравнялись и перестали разговаривать. Старший политрук Седов вдруг сконфузился под пристальными взглядами сотни людей и стал что-то негромко докладывать начальнику штаба. Сегодня был его день – день старшего политрука Седова. Ради предстоящего торжества он выбрился так старательно, что весь изрезался, и теперь его лицо было разукрашено маленькими бумажками, наклеенными на местах порезов. И вообще все, с его точки зрения, не удавалось и было подготовлено наспех, без специального совещания, без соответствующих предварительных размышлений. В самом деле, вдруг позвонили, и тотчас же производи награждение. И где? В мастерских! А ведь все можно было устроить в Доме Флота, при свете прожекторов, и там вручение орденов снимали бы кинооператоры на пленку для всего Советского Союза.

– Ничего, ничего! – довольно громко ответил начштаба. – Главное – спокойствие.

И ушел за командующим, который все еще курил возле мастерских, прислушиваясь к рокоту моторов и к коротким ударам пушечной пальбы в воздухе.

– Опять Седов напугает? – улыбнувшись, спросил командующий. – Он, знаете ли, всегда так волнуется, смотреть на него страшно. Комиссар хотел его снять с этого дела, да я заступился. С ума человек сойдет.

– Работа, конечно, красивая, – тоже улыбнувшись, ответил начштаба, – и надо ему отдать справедливость – всю душу вкладывает. Нет, нельзя его трогать. Давеча попросил разрешения одну медаль "За отвагу" лично отвезти Смородинову в город. Тот в госпитале там лежит. И, представляете, врачей вызвал в палату, сестер, санитаров.

Он пропустил командующего вперед, поправил фуражку, обдернул шинель и великолепным, очень красивым шагом вошел в мастерскую. Где-то на фланге звучный и громкий голос скомандовал «смирно», и все стихло.

Седов прочитал по бумаге первую фамилию. Крупнотельный летчик, с трудом отбивая строевой шаг мягкими унтами, пересек расстояние, отделяющее его от командующего, и

встал навтыяжку. Выражение лица Седова из старательного сделалось отчаянным, он дважды, шепча при этом губами, сверил номер и протянул коробочку командующему.

– Поздравляю, капитан, – сказал командующий, светло, и прямо вглядываясь в глаза летчика, – хорошо бьете фашиста, поздравляю. И из техники выжимаете все, что она может дать. Правильно делаете.

Лицо летчика напряглось, он громко ответил положенную фразу, повернулся и пошел на свое место. Седов назвал другую фамилию, опять сверил номер и протянул еще коробочку командующему.

На сопках, слева от мастерских, ударили зенитки, и всем сразу стало видно, что командующий, вручая ордена, в это же время прислушивается к тому, что происходит там, в небе.

Восьмым был военврач Левин.

Волоча за собою спадающую калошу и не замечая этого, он взял из рук командующего коробочку с орденом, сказал «спасибо» и пошел было обратно, как вдруг командующий остановил его, и он вновь возвратился к покрытому кумачом столу, добродушно и немного виновато улыбаясь.

– Товарищ военврач, – сказал командующий негромким голосом, – думаю, что выражу общее мнение, если от имени всех нас особо поздравлю нашего дорогого товарища Левина, которого мы – вернее, многие из нас – помнят по тем далеким временам, когда... когда они были учлетами и когда военврач Левин лечил нас не только лекарствами, но и... советами... когда военврач Левин... помогал нам в трудные дни... верить себе и верить в себя...

Командующий помолчал немного и прислушался к тому смутному и сочувственному гулу, который про шумел среди построившихся людей, потом пожал сухую и крупную руку доктора, взглянул ему в глаза и добавил:

– Одним словом, товарищ военврач, горячо вас поздравляю с наградой и желаю вам здоровья и сил для той работы, которая ожидает вас до великого дня победы.

– Благодарю вас, – опять сказал Левин, – спасибо! Вернувшись в строй, он надел очки и аккуратно прочитал свое временное удостоверение.

Следующим получил орден Калугин, потом опять пошли истребители, за ними батальон аэродромного обслуживания. Зенитки замолчали. На лице Седова от напряжения выступили крупные капли пота.

– Старший лейтенант Сафарычев, – вызвал Седов.

– В воздухе! – ответил чей-то густой голос.

Седов отложил орден Сафарычева и прочитал еще две фамилии.

– Абрамов убит, – отозвался тот же густой голос. Седов отложил в сторону орден Абрамова.

Когда все кончилось, Левин медленно вышел из мастерских. Опять посветлело, снег перестал падать. Слева от капониров грохотали прогреваемые моторы дальних бомбардировщиков. Техник, которого, кажется, звали Гришей, поднял руку и что-то прокричал Левину, – наверное, поздравил. "Если мне не изменяет память, – подумал Левин, – то у него был перелом ключицы".

Подскакивая на ухабах застывшей дороги, его обогнала грузовая машина, в которой, держась друг за друга, пряча лицо от холодного ветра, стояли летчики. И они тоже что-то закричали Левину и замахали ему руками, а потом один из них забарабанил в крышу кабины, и грузовик остановился. "Еще немного, и у меня сделает ся сердцебиение, – подумал Левин, – ко мне все-таки великолепно относятся в нашем ВВС".

Дюжие руки втащили его в кузов с такой быстротой, что он даже не заметил, как это произошло. Он просто очутился в кузове среди трех десятков молодежи, и только одно лицо показалось ему знакомым. "Осколочное ранение в тазовую область, – вспомнил он, – да, да, как же. Его дела были плохи – этого юноши, а вот теперь ничего".

Летчики пели.

Машина мчалась к гарнизону через аэродром, на котором военный день еще не

кончился, – какие-то машины рулили к старту, готовясь вылететь, другие тащились к капонирам, с третьими возились механики, дыханием согревая стынущие на холоде руки. Старшина-оружейник выверял пулеметы и бил порою короткими очередями в далекую скалу, а небо опять голубело, очищая свои просторы для нового сражения, наверное последнего в нынешний день.

4

Вечером в ординаторскую пришел Бобров. Военврач второго ранга Левин ел суп из пшена с треской и маленькими кусочками откусывал хлеб. Очки Александр Маркович поднял на лоб; от белой шапочки лицо его стало строже и печальнее.

– Какой у нас был повар, – сказал Левин, – как старался и как любил свое дело! А теперь вот вольнонаемный и, извольте видеть, невесть что варит. А мне некогда с ним ругаться, и, кроме того, я совершенно не понимаю, отчего одна еда бывает вкусная, а другая невкусная. Я не знаю, почему это невкусно, и не могу с него строго спрашивать. Вы понимаете, отчего еда бывает вкусная, а отчего невкусная?

Бобров ответил, что, наверное, в супе нет лаврового листа. Или, может быть, туда надо положить горчицы. Вообще, если что-нибудь очень невкусно, то всегда следует обращаться к горчице.

– Чудовищный день, – сказал Левин, – я совершенно измучился. Приехал из мастерских и сразу в операционную. Тут сегодня доставили трех мальчиков, вы слышали об этом бомбардировщике? Расскажите, как они упали?

Бобров рассказал. Левин выслушал, кривясь, барабаня по столу пальцами. За столько лет работы в авиации он так и не смог привыкнуть к этим рассказам, к спокойно-мужественному тону рассказчиков, к словам «гробанулся», «накрылся», «спрятался в водичку».

– Четыре «мессера» на одного, – сказал он, – нехитрое дело. Паршивые убийцы! Кстати, это с вами была недавно история, вы как будто попали в штопор?

– Нет, товарищ военврач, я никогда не попадал в штопор.

– И хорошо, что не попадали. Не вы, не вы... Тогда кто же попал в штопор на этих днях? Впрочем, это неважно, каждому из нас будет в конце концов свой штопор. Фу, начинается изжога. Вы не страдаете изжогами? Садитесь, старик...

Бобров сел.

Потом доктор ел картофельное пюре и вслух раздумывал о войне. По его предположениям выходило, что фашизм будет разгромлен году в сорок шестом. Насчет Второго фронта он отзывался довольно вяло. Бобров Смотрел на доктора внимательно, и глаза у него были такие, что Левину хотелось говорить и говорить.

– Доктор, – сказал Бобров, – вы бы кушали, у вас простынет.

– Кушали! – воскликнул Левин. – Кушали! Погодите, я еще устрою баню этому Онуфрию! Он будет меня помнить!

И с негодующим видом Александр Маркович отодвинул от себя картофельное пюре.

– В одном доме, было время, вашего покорного слугу подкармливали, – сказал он. – Я был еще молодой человек, а там была бабушка Варя, и она пекла, например, хворост. Вы когда-нибудь пили крепкий, сладкий чай с хорошим хворостом? В этой семье...

– Доктор, а где сейчас ваша семья? – перебил вдруг Бобров.

– Моя семья? – почему-то сконфузившись и не сразу, ответил Левин. – Моя семья? Говоря откровенно, у меня нет никакой семьи.

– Погибли? – глядя прямо в глаза Левину, спросил Бобров.

– Абсолютно не погибли, – ответил Александр Маркович. – Странная манера у вас у всех об этом спрашивать. Никто у меня не погибал...

Александр Маркович ворчал долго.

– Это просто удивительно, – говорил он сердито, – нет такого человека, который бы не

думал, что я несчастный. А я несколько не несчастный. У меня нет никакого надлома, понимаете? Я просто неженатый. Ведь бывают же неженатые люди. Я – холостяк. Я не вдовец, меня не бросала жена, и никто даже не может сказать, что я не успел жениться потому, что был сильно загружен работой. И я не убежденный холостяк. Если же проанализировать мое холостяцкое положение и постараться найти причину, то это окажется невозможным. Как-то так случилось, что я не женился. Все женились, все влюблились, и всегда у меня была масса поручений – передать записку, отвезти букет цветов, и я как-то в этих свадьбах и влюбленностях запыхался, забегался и опоздал. И на барышне, которая мне очень нравилась, которую я, быть может, даже любил, вдруг женился один мой товарищ. А когда я ей через много лет рассказал, как был в нее влюблен, – она всплеснула руками и сказала: "Ой, Шура, вы все выдумываете..."

Он грустно помолчал и добавил:

– Ничего себе "выдумываете"!

– Да, кстати, – сказал Бобров. – Я слышал, будто вы в отпуск собрались...

– Не вышло, – ответил Левин. – Я, знаете, хотел немного сам подзаняться со своим здоровьем, но не вышло. Должен был приехать мне на смену один очень хороший доктор, так случилось несчастье, разбомбили поезд, помните, не так давно под Лоухами. И я остался. Мне всегда не везет с отпусками, это какая-то мистика...

– Чего?

– Ну, мистика, бред... Да вы же, наверное, помните мою поездку в Сочи...

Бобров улыбнулся.

Он вспомнил, как еще до войны, в отпускное время Левин вдруг объявил всем, что едет в отпуск, что у него уже выписаны литеры, что для него заказан мягкий билет, нижнее место до станции Сочи, а на другой день появился в летной столовой и весело пожаловался:

– Вот видите, как я уехал? Теперь ко всему прочему я еще санитарный врач. Мне только не хватало снимать пробы и осматривать состояние санузлов! Ну, а с другой стороны, когда мой коллега военврач Жилин должен ехать за молодой женой и некому его заменить, как бы вы поступили? Когда он показывает мне письмо от жены и там написано: "еще один месяц, и я сойду с ума, что ты со мной делаешь, мама плачет, и сестра Надя плачет". А? Ну-ка, скажите? И начсан вызывает меня, сажает в кресло, долго молчит, долго вздыхает и потом обращается: "Я не приказываю, я прошу. Вас никто не ждет, а Жилин молодожен". Вот вам и Сочи. И все только потому, что у меня нет настоящей силы воли. Воспитывайте в себе волю, молодые люди, иначе вы не увидите Сочи.

Доктор Левин был ке чужд честолюбия. Но это было своеобразное честолюбие. В общих чертах оно сводилось к тому, что Александр Маркович любил рассказывать, будто знает очень многих знаменитых летчиков и будто кое-кого из них он лечил в свое время. Кроме того, в давние мирные времена, раздражаясь, Левин любил намекнуть собеседнику, что если так пойдет дальше, то он рассердится и уедет в Москву в Главное Управление или, в крайнем случае, в Ленинград.

– А что? – спрашивал он. – Вы думаете, у меня вместо нервов веревки? Возьму и подам рапорт. Вечно я должен таскаться с этим племенем крылатых. Не захочу – и не буду. Что я тут вижу среди этих железных парней? Вот побудьте, побудьте хирургом у летчиков. Много интересного вы увидите. За прошлый месяц только один случай, и то растяжение связок, – не вовремя дернул какую-то там веревку в своем парашюте. И с утра до вечера нытье, чтобы его отпустили и что он повесится со скуки в госпитале. Врач должен расти. А какой у меня рост? В крайнем случае аппендицит, и то разговоров не оберешься. Зачем летчикам врач в мирное время? Тут одни недавно ко мне пришел – интересовался, что такое головная боль. Вы себе представляете человека в тридцать лет, который совершенно не знает, что такое головная боль, и спрашивает – это болит кожа на голове, болят кости в голове или мозг? Эти люди наделены таким здоровьем, что если они не падают, так для чего им хирургическое отделение? Если бы еще была война, то, конечно, я был бы нужен, а без войны я совершенно ненужен. Хорошо, что в мирное время я большей частью работал в клиниках. Иначе война

бы застала меня лично врасплох. В большой клинике все-таки кое-что видишь, Кое-что делаешь и порою приходится подумать. А здесь с вами, со здоровяками? Даже смешно...

Левин был вспыльчив, много путал, часто раздражался, и, случалось, кричал на своих санитарок, сестер и врачей. Он просто не понимал, что значит говорить тихо. Халат на нем никогда не был застегнут, длинный нос задорно торчал из-под очков, зубами он вечно жевал мундштук папиросы и для утешения своих пациентов часто рассказывал им о собственных болезнях, энергично и страстно сгущая при этом краски.

– Этот борец со стихиями жалуется на сердце! – восклицал Левин. – Этот Икар, этот колосс смеет говорить о сердце! Кстати, оно вовсе не здесь, здесь желудок. Честное слово, противно слушать человека, который думает, что он болен, в то время когда он совершенно здоров. У вас хронометр, а не сердце, а у меня, вот у меня вместо сердца – тряпка. Давеча тут один воздушный сокол показал мне свой перелом, вот он лежит в соседней палате. И он думает, что это серьезно. Он не хочет быть калекой на всю жизнь и волнуется. Передайте ему потом, что я вам говорил доверительно, как мужчина мужчине. У него даже не перелом. У него ушиб. И нечего ему разводить нюни насчет того, что он может быть отчислен от авиации. Вот в тридцать втором, доложу я вам, один штукарь уронил меня вместе с самолетом, так это действительно была картина, достойная кисти художника. Меня собрали из кусков. Все было отдельно. Ну почему вы смеетесь? Что смешного в том, что доктор Левин упал вместе с самолетом и разбился на куски? Кроме того, у меня язва желудка, так я думаю. А вы все здоровяки, покорители стратосферы, воздушные чемпионы, племя крылатых, и вы мне очень надоели.

В серьезных случаях, даже до войны, Александр Маркович не уходил из госпиталя. Если кто-нибудь из летчиков попадал в катастрофу, если состояние пострадавшего внушало хоть маленькое опасение, – Левин как бы случайно засиживался в ординаторской, потом в палате у раненого, потом вдруг задремывал в коридоре в кресле возле столика дежурной сестры.

– Э! – сказал он Боброву, когда тот впервые очнулся после ранения, – вам нечем особенно гордиться. Если вы женаты, то не рассказывайте вашей жене, что вы были на краю смерти. Вас можно пропустить через кофейную мельницу, и все-таки вы останетесь летчиком. Организм вообще очень много значит в таких случаях, как ваш. Вот, кстати, во время финской у меня была работа. Приносят одного и кладут мне на операционный стол. Я смотрю, и, можете себе представить, вспоминаю обстоятельства, при которых в свое время я оперировал этого же самого юношу. Мои швы, мой, так сказать, почерк, и недурная, очень недурная работа. А дело было так. Он когда-то упал. Тогда летали бог знает на чем, на «Сопвичках», вы, наверное, даже их не видели. И вот он упал вместе со своим «Сопвичем», отбитым у белых. И я, тогда еще совсем молодой врач, должен был разобраться. Вокруг – никого, раненый нетранспортабелен, местный фельдшер только крикает, и я – желторотый – должен все решить. Один час двадцать минут я возился с этим молодым товарищем и потом нисколько не верил, что дело обойдется без сепсиса. Я не мог спать, не мог есть, помню – только все пил воду и курил самосад. Но мой пациент выжил. Он выжил вопреки здравому смыслу и всему тому, чему меня учили. Он выжил потому, что у него был совершенно ваш организм. У него было сердце как мотор и такое здоровье, что он совершенно спокойно проживет еще минимум семьдесят лет. Так что никогда не следует унывать, а вам, с вашими царапинами, тем более. Вот вам молоко – его надо выпить. Если вы не станете пить молоко – это пойдет на пользу фашизму-гитлеризму. И ничего смешного. Гитлеру, Герингу, Геббельсу и всей этой шарашкиной артели очень приятно, когда наши раненые отказываются от пищи. То есть это я, конечно, выражаюсь фигурально, это в некотором смысле гипербола, но все-таки сделайте им неприятность – выпейте молоко и скушайте котлетку. Сегодня вы лично по некоторому стечению обстоятельств не воюете, так сделайте этой банде неприятности не как боевой, гордый сокол, а как едок...

После своего позднего обеда, сидя с Бобровым, Левин стал вспоминать Германию и университет в Йене, где некоторое время учился. Это было в общем-то ни к чему, но люди, близко знавшие старого доктора, любили слушать его всегда внезапные воспоминания – то один кусок жизни, то другой, то юность, то отрочество, то какую-то встречу, и грустную и забавную в одно и то же время.

– Немцы, немцы! – говорил Левин. – Я не люблю, когда ругаются – немец, немец. Немец это одно, а фашист это совершенно другое. Когда я смотрю, как они кидают бомбы, или читаю в газетах об этих лагерях уничтожения – боже мой, я пожимаю плечами, пожимаю своими плечами и думаю, что можно сделать из народа, дай волю Гитлеру. Народ можно превратить в палача, в гадину, в зверя, будет не нация, а подлец. Я учился в Йене, я был очень бедный студент, совсем бедный, хуже нельзя. И мне посоветовали – идите к студенческой бабушке фрау Шмидтгоф. Вот такая старуха – выше меня на голову, с усами, не дай бог увидеть ее во сне. И бока и бюст, ну что-то ужасное. Представляете себе – смотрит на меня неподвижно пять минут, обдумывает, гожусь я или нет. Потом показывает комнату и тоже смотрит – годится мне комната или нет. Потом говорит: вы имеете здесь кофе, не слишком крепкий, сливки, не слишком густые, четыре булочки в день и тишину с чистотой. Никаких безобразий. Стирка белья и штопка носков – тоже от меня.

Я поселяюсь у студенческой бабушки Шмидтгоф. Через месяц она знает расписание всех моих лекций, знает, какое у меня было детство, знает, что я люблю жидкий кофе и побольше сливок, знает, что мне не приходится ждать ассигнований на новый костюм, а когда я заболеваю, она ходит за мной лучше, чем моя родная мама. Слушайте внимательно, Бобров. Эта женщина не дает мне никогда проспать ни одной лекции, а на прощание, когда я плачу и даю клятвы, что я все-таки еще приеду в Йену повидать ее, она заявляет: "Нет, вы не приедете, герр доктор". Почему же я не приеду? "Вы не приедете, потому что профессора, у которых вы учились, олухи и бездарные дураки, вы поймете это несколько позже". Но, фрау Шмидтгоф, для чего же вы гоняли меня на все лекции? "О, герр доктор, маленький мой герр доктор, для того, чтобы вы получили диплом. У вас нет богатых родителей, вы никогда не получите наследство из Америки, а диплом – это булочки и не особенно крепкий кофе, и жидкие сливки, и крыша над головой. Жизнь так плохо устроена, герр доктор. Нет, нет, только самодовольные кретины возвращаются в Йену, а люди с головой думают: здесь пропали мои лучшие годы, у этих бездарных профессоров. Желаю вам много счастья, герр доктор, добрую жену и всегда свою голову на плечах. Желаю вам понять, что ваш профессор Брукнер – бездарная скотина, а ваш профессор Закоски – нахал и карьерист, а ваш любимец профессор Эрлихен – тупица. Никогда не приезжайте в Йену"...

– И вы не поехали? – спросил Бобров.

– Конечно.

– А старухе вы написали?

– И старухе я не написал.

– Почему?

– Не написал, и баста. Почему? Веселое письмо я не мог ей написать, а грустное – не хотелось. У меня тоже была своя гордость. При царе доктору Левину не так-то просто было устроиться на службу, чтобы иметь хотя бы жидкий кофе и крышу над головой... Вы же этого не понимаете – вы, Бобров, для которого все равны: и казах, и еврей, и узбек, и вы сами, русский. Так я говорю?

– Оно, конечно, так, – согласился Бобров.

Потом Левин показал Боброву полученный давеча орден.

– Вообще, орден Красной Звезды самый красивый – сказал Александр Маркович, – скромно и сильно высказанная идея. Вы согласны? Хотя "Красное Знамя" тоже очень красивый орден. У вас уже два "Красных Знамени" и "Красная Звезда", а еще что?

– "Трудыга" и "Знак почета", за арктические перелеты...

– Тоже неплохо! – сказал Левин. – "Правительство высоко оценило его заслуги" – как

пишут в некрологах.

Но будем надеяться, что я не доживу до такого некролога. А теперь мы вымоем руки и займемся вами. Товарищ командующий мне звонил насчет вас. Что вы думаете насчет нашей идеи?

Бобров ответил не сразу. Он вообще не отличался болтливостью.

– Ну? – поторопил его Левин. – Или вы не поняли моего вопроса? А может быть, бабушка Шмидтгоф произвела на вас слишком сильное впечатление? Не надо, дорогой товарищ Бобров. Война есть война, и если они позволили себе фашизм, то мы позволим себе этот фашизм уничтожить. Правильно? Теперь что же насчет идей?

– Придуманно толково, возражать не приходится, – ответил наконец летчик, – но многое будет зависеть от качества пилота. Надежный пилот – будет работать нормально; несортный пилот – накроетесь в два счета. Учтите – посадка и взлет в районе действий истребителей противника.

– Э, – воскликнул Левин, – в районе действий истребителей противника! А наши истребители? Разве они не будут нас прикрывать? Смотрите вперед и выше, старик, больше оптимизма!

Умывая руки, он пел "Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц".

Потом пришел сонный и небритый военврач Баркан. Он был очень недоволен тем, что Левин приказал его разбудить, и нарочно показывал, как он хочет спать, как переутомлен и измучен.

– Та-та-та-тра-та-та-та-та-та, – напевал Левин, обходя кругом голого Боброва и тыкая пальцем то в ключицу, то в лопатку, то в живот, – тра-та-та...

Отрывистым голосом он что-то сказал небритому по-латыни, но Баркан не согласился, и с этого мгновения стал прекословить, но не прямо, а как-то вбок. Например, если Александр Маркович что-нибудь утверждал, Баркан не оспаривал, но отвечал вопросом:

– Допустим. И что же?

Для того чтобы что-то доказать военврачу Баркану, Левин приказал Боброву ходить взад и вперед по ординаторской. Летчик ходил нахмурившись, сжав зубы, злился.

– Ну? – спросил Александр Маркович.

– Могу ответить таким же вопросительным «ну», – сказал Баркан. – Вы, как всегда, алогичны, Александр Маркович.

– Я алогичен? Я? – спросил Левин. – Нет, в вас нынче засел бес противоречия. В конце концов я не отвечаю за то, что вы не в духе.

– Зато у вас сегодня необычайно приподнятое настроение, – ответил Баркан. – Разрешите идти?

Левин кивнул и велел Боброву одеваться.

– Видали? – спросил он, когда Баркан ушел. – Недурной человек, и врач, на которого вполне можно положиться. Но что-то у меня с ним не выходит. Не у него со мной, а у меня с ним. И виноват мой характер, моя болтливость, вечный шум, который я устраиваю, пустяки, которые выводят меня из себя. Даю вам слово, что были случаи, когда я его обижал совершенно зря. И теперь не получается контакт. Я ему неприятен, нам трудно вместе. свинство, когда идет война. Вы меня осуждаете?

Бобров пробурчал нечто среднее между "все бывает" и "постороннему тут не разобратся". Впрочем, он невнимательно слушал Левина. Допустит к полетам или нет – вот ради чего он тут сидел. И в конце концов это произошло.

– Смотрите вперед и выше, старина, – сказал Александр Маркович. – Ваше дело в шляпе. Я считаю, что вас можно допустить к исполнению служебных обязанностей.

Летчик еще сильнее сжал зубы: вот оно, наступает его день.

– Вы в хорошей форме, – продолжал военврач, – вы в форме почти идеальной для вашей специальности. Теперь второй вопрос – наша идея. Вы бы пошли пилотом на такую машину?

– На какую? – спросил Бобров, чтобы оттянуть время и не сразу огорчить Левина.

–; Я же вам говорил о нашей идее. Речь идет о спасательной машине. Или мне рассказать все с самого начала?

– Я хочу воевать! – сказал Бобров. – Я должен воевать, товарищ военврач...

– Ну и воюйте! – вдруг грустно и негромко ответил Левин. – Воюйте на здоровье. Конечно, вы воюете, а я вам предлагаю эвакуацию в Ташкент. Разумеется, вы солдат и храбрец, а мы тут бьем баклуши и отсиживаемся от всяких непредвиденных случайностей. Вытащить из ледяной воды двух-трех обреченных парней – это для товарища Боброва штатская работа. Вернуть к жизни, спасти своих товарищей – это несерьезно. Нет, нет, лучше теперь молчите. В данном вопросе интересно то, что некто Бобов сам сказал, будто несортный пилот погубит все начинание, а когда дошло до дела, то этот же Бобров предпочел отказаться. Я больше ничего не имею сказать. Привет, товарищ Бобров...

Летчик молчал, косо и задумчиво глядя на Левина. Тот сидел за своим столом, горестно подпершись руками, и было видно, что он в самом деле глубоко обижен и оскорблен.

– Все едино это вроде отчисления от боевой авиации, – глухо и упрямо произнес Бобров. – Тут никакие рассуждения не помогут, хотя вы и правы как военврач. Конечно, без команд аэродромного обслуживания мы работать не можем, и правильно роль этих команд начальство поднимает, но коли вопрос жестко поставят, я лучше и пехоту подамся, чем в аэродромную команду.

Левин молчал.

– Еще направят на бензозаправщик шофером и тоже скажут – боевая работа, – ворчливо добавил Бобров, – а я бомбардировщик, театр знаю, пользу приношу.

– Идите, идите, – почти крикнул Левин, – я же вас не прошу и не уговариваю. Идите в бомбардировочную, идите. А мне пришлют мальчика двадцатого года рождения, и нас срежут на первом же взлете. Черт с ним, с этим старым Левиным. Но идея, идея, прекрасная идея тоже будет срезана раз навсегда. До свидания, спокойной ночи, приятных сновидений.

И он открыл перед Бобровым дверь в полутемный госпитальный коридор.

Потом Левин немного постоял в ординаторской, раздумывая, и принял соды: его мучила изжога. К ночи с дальнего поста привезли на катере краснофлотца – пришлось оперировать. Потом у старшины стрелка-радиста началось обильное, изнуряющее кровотечение из раны бедра.

– Ничего не понимаю! – ежась и вздрагивая, сказала Ольга Ивановна. Она всегда пугалась за своих раненых, и Александр Маркович сердился за это на нее и часто говорил ей, что так нельзя, что она должна держать себя в руках, что это, в конце концов, война.

– Чего же тут не понимать? Вторичное кровотечение! – сказал он и пошел мыть руки. Анжелика побежала перед ним готовить операционную.

К часу ночи он перевязал старшине бедренную артерию, и когда из операционной его привезли в палату, Александр Маркович сел с ним рядом и заговорил:

– Теперь все в полном порядке, старик. Еще немного, и вы пойдете гулять. У вас железные легкие и блиндированное сердце. С вашим здоровьем человек никогда не умирает. Верочка, приготовьте для этого летающего Мафусаила кальций. И вам не стыдно, старик? Это, кажется, вы часа два тому назад просили меня написать прощальное письмо на родину? Смотрите, ему смешно!

Наконец, когда все затихло, Левин отправился по осклизлым каменным ступеням вниз, в свою комнату, рядом с прачечной, отдыхать. Здесь круглые сутки слышался шум воды, глухо и печально пели прачки, скрипел мочный барабан, а если близко падала бомба, то обязательно лопались трубы и жилье доктора заливало водою.

Он разулся, вздохнул и сел на койку. Кителю он не снимал: мало ли что могло случиться со стрелком-радистом.

Дорогая Наталия Федоровна!

Так я к Вам и не приехал. Опять не вышло. И не то чтобы меня не пустили – наоборот, очень даже пускали и гнали, но по свойству своего характера – не смог. Кстати, не помните ли Вы такого ученика Н. И., по фамилии Белых? Это

необыкновенно способный хирург, Н. И. очень его когда-то нахваливал и водил к вам в дом, где вышеупомянутый Белых, краснея и стесняясь, съедал огромное количество хлеба, стараясь поменьше мазать маслом. Вспоминаете? Звали Вы его Петечкой, и нянька, покойница Анастасия Семеновна, всегда его еще отдельно кормила в кухне гороховым супом, который он страшно любил. Так вот этот Белых ехал к нам и попал под бомбежку. Подлецы фашисты и бомбили и обстреливали состав. Белых вытаскивал из вагона какого-то раненого майора, фашист сверху дал пулеметную очередь, и теперь у нашего Петечки прострелены кисти обеих рук. Представляете, какое это ужасное несчастье для хирурга. Наш начсанупр флота приказал круглосуточно дежурить возле него – страшимся мы психической травмы. Э, да что писать...

Но дело есть дело: Белых, по всей вероятности (об этом был специальный разговор), удастся эвакуировать в те районы, где командует наш Н. И. Пусть Н. И. вспомнит своего ученика, отыщет его, и, так сказать, в общем, Вы понимаете. Учтите еще, что этот сибиряк страшно самолюбив и именно поэтому не потерпит никакого особого с собой обращения. Я ездил к нему. Он сказал: «Живем-живем и привыкаем – все Н. И. да Н. И., а ведь Н. И. великий хирург». Приятно Вам быть женой великого хирурга?

Ох, милая Наталия Федоровна, как быстро летит время. Пишу Вам и вспоминаю Киев, Н. И., Вас и Виктора, когда он только что родился и у Вас сделалась грудница. Помните, как мы все трое испугались и позвали фельдшера Егора Ивановича Опанасенку, а потом я побежал в аптеку и на обратном пути вывихнул себе ногу. И Ваш муж вместе с Опанасенкой вправили вывих, когда меня приволокли какие-то добрые киевские дядьки.

Передайте, пожалуйста, Н. И., что у меня с госпитале два дня тому назад был казус во время операции на почке, совершенно в стиле раритетов, которые интересуют Вашего благоверного для той его давнишней работы.

Остаюсь Вашим постоянным доверенным лицом

А. Левин

6

– Ну? – спросил Левин.

Военинженер Курочка лежал в воде залива на спине. Холодная луна светила прямо в его маленькое белое лицо.

– Все в порядке? – крикнул Александр Маркович, и гребцам-краснофлотцам показалось, что над заливом каркнула ворона. – Удобно лежать?

Шлюпка едва покачивалась.

Широкой лентой по черной воде плыли шарики лимонов. Про эти лимоны рассказывали, будто бы какая-то союзная «коробка» напоролась на камни, разодрала себе днище и теперь команда пьянствует на берегу в «Интуристе», а лимоны вода вымывает и несет по заливу. Каждый такой лимон покрылся корочкой льда и там, под скорлупой, сохранил и свой аромат и вкус.

В шесть часов утра первое испытание закончили. Краснофлотцы вытащили Курочку в шлюпку – спасательный костюм блеснул, точно рыба чешуя, и тотчас же обледенел. Левин налил из фляги коньяку, но Курочка пить не стал.

– Спать хочу, – сказал он, зевая.

– Я все-таки повезу вас в госпиталь, – строго решил Александр Маркович. – Там и выспитесь. Так или иначе, даже в том случае, если наш костюм будет принят на вооружение и летчики будут его применять, после падения в воду нужен медицинский уход.

– Я не падал, я испытывал в спокойных условиях, – ответил Курочка.

И попробовал обмерзшую ткань на слом.

– Ага? – сказал Левин. – Не ломается? Вечно вы ничего не верите. Я же замораживал и кусочками и большим куском. Ничего ей не делается – этой нашей великолепной ткани.

– Не нравится мне что-то в нашем костюмчике, – вяло ответил Курочка, – а что – не могу понять. Чего-то в нем не хватает.

– Ох, надоели вы мне с вашим пессимизмом, – сердился Левин. – Если не хватает, тогда скажите, чего именно не хватает...

– А знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? – вдруг, хитро прищурившись, спросил Курочка. – Тем, что пессимист говорит – хуже быть не может, а оптимист утверждает – нет, может быть еще гораздо хуже. Так вот я оптимист, и утверждаю, что с костюмом не все в порядке...

С пирса они приехали в госпиталь. Пока Левин записывал все фазисы прохождения испытаний, инженера купали в ванне и кормили сытной и горячей едой. Потом он стал засыпать. И с этим бороться было уже безнадежно.

– Послушайте, старик, еще пять минут, не больше, – умолял его Левин, – вы мне только расскажите, как работала химическая грелка...

– Оптимист... могла бы работать лучше, – говорил, засыпая, инженер. – Все всегда можно сделать лучше, чем мы делаем...

Он уже спал. Маленькое личико его осунулось еще больше за эту ночь. И Левин вдруг понял, что с Курочкой нужно быть осторожнее, потому что этот человек вообще устал до предела: устал от своей военной работы, от беспорядков с женой где-то в далеком тылу, от вечного, словно съедающего напряжения мысли, всегда устремленной куда-то в далекое будущее. Когда инженер уснул, в ординаторскую пришел его приятель, высокий, сердитый Калугин, и сказал, что это форменное безобразие – так мучить Курочку.

– Вы не знаете, какие мозги у этого товарища, – произнес он, кивнув на диван, – ваш рентген еще не умеет определять, из кого может произойти настоящий гений. И если на то пошло, если это правда необходимо, давайте я буду испытывать ваш спасательный костюм. У меня настоящее здоровье, меня не уморишь каким-либо гриппом или ангиной...

– Дело не в ангине, – со вздохом сказал Левин. – Дело том, что он ждет и не получает писем. Я не жду, а вот он ждет...

– А зачем он ей? – со злобой в голосе негромко спросил Калугин. – Зачем ей человек, который имеет броню и служит здесь? Вы-то ее не знаете, а я ее знаю – эту даму. Это особая дама, удивительная дама. И он все понимает и тем не менее мучается ужасно. От этого еще не изобрели капель?

– Нет, не изобрели! – печально ответил Левин.

– Ну, тогда и шут с ней – с этой дамой. Калугин сел в кресло, налил себе из фляжки коньяку и сказал:

– Моя специальность – строительство аэровокзалов. Кончится война, и я буду строить грандиозные аэровокзалы в Ташкенте, в Алма-Ате, в Сочи, в Архангельске. Давайте мне каких-нибудь порошков, доктор, чтобы не думать о своих проектах. На данном этапе это ни к чему. Впрочем, это я пошутил насчет того, что буду строить. Может быть, и не буду. Может быть, мои проекты гроша ломаного не стоят. Может быть, я маньяк. А, доктор? Впрочем, это все пустяки. Лучше скажите мне чем кончились нынче ваши испытания.

– Они еще не кончились, – сказал Левин.

– Это жалко, – сказал Калугин. – Тем более, что завтра, то есть даже сегодня, Курочка вам не помощник. Мы с ним уезжаем.

Левин молчал. Лицо у него делалось все более и более сердитым.

Калугин громко высасывал лимон. Левин сморщился.

– У-у, – сказал он, – такая кислятина! Даже смотреть страшно.

Когда Калугин ушел, доктор пододвинул к себе чернильницу, почесал вставочкой переносицу под дужкой очков и размашисто написал: "Протокол..." Потом еще подумал, засопел и, зачеркнув «Протокол», написал: "Акт".

Он писал долго, до самого утреннего обхода, и сердился, что Курочка спит, а он должен писать, хоть писать его никто не заставляет, так же как никто ему никогда не приказывал заниматься спасательным костюмом.

Весь день он был в возбужденном состоянии, и его карканье разносилось далеко по коридорам и палатам госпиталя, а к вечеру он зазвал к себе в ординаторскую доктора Баркана, посадил на клеенчатый диван и, слегка склонив голову набок, спросил:

– Доктор Баркан, не кажется ли вам, что пора положить конец этим нашим нездоровым взаимоотношениям?

– Что, собственно, вы имеете в виду? – сухо осведомился Баркан.

– А вы не догадываетесь?

– Наши взаимоотношения определились раз навсегда! – сказал Баркан. – Вы мне не доверяете, это мне доподлинно известно. С какой же стати я буду разыгрывать роль вашего друга...

Левин ответил не сразу. Он подумал, потом произнес сурово:

– Речь идет, видимо, о том, что я не согласился отдать вам свой госпиталь. Да, я не согласился. Я могу передать вверенный мне госпиталь только человеку, которому я доверяю больше, чем самому себе. Иначе я несогласен. А вам я доверяю меньше, чем себе. Вы значите сами для себя больше, чем дело, чем работа. Разве это не так?

Баркан молчал.

– Это так! – сказал Левин. – Вы привезли с собой сюда ваше самолюбие. Вы не хотите считаться с нашим опытом. А у нас большой опыт. Вы несогласны с этим?

– У меня тоже немалый опыт! – твердо и значительно сказал Баркан. – Я не вчера получил диплом. я...

– Послушайте, – перебил его Левин, – послушайте, доктор Баркан, зачем вы себе выбрали эту вашу специальность? Нет, нет, не надувайтесь сразу, не делайте такой вид, что я вас оскорбил, а просто ответьте – зачем вы пошли в медицинский институт и даже потом защитили диссертацию?

Доктор Баркан засунул указательный палец за воротник кителя и подергал – воротник вдруг впился ему в толстую шею, потом он медленно поднял ненавидящий взгляд снизу вверх и с бешенством как бы измерил взглядом тонкую сутуловатую фигуру доктора Левина.

– Что вы от меня хотите? – спросил он негромко.

– Чтобы вы ответили, для чего вам понадобилась специальность врача.

– Я отказываюсь отвечать на подобные вопросы! – сказал Баркан.

– Отказываетесь?

– Да, отказываюсь.

– Я так и знал, что вы откажетесь, – сказал Левин, – вы во всем ищите оскорбление. Вы – недалекий малый, вот что...

Доктор Баркан стал приподниматься с дивана, но Левин замахал на него рукою, и он, помимо своей воли, вновь сел и даже откинулся на спинку, приняв такую позу, которая означала, что доктор Левин может теперь болтать сколько ему заблагорассудится, – с душевнобольными не спорят. Левин же, будто и не замечая этого движения Баркана и всей его позы, стал расхаживать по ординаторской и не столько говорить с Барканом или говорить Баркану, сколько рассуждать сам с собою или делиться с Барканом своими мыслями, причем с такой интонацией, что Баркан никак не мог больше обижаться, потому что Левин как бы даже советовался с ним.

– Послушайте, – говорил он, – сегодня я случайно узнал, что вы сын врача. И, знаете, я вдруг подумал, как, в сущности, все изменилось за эти годы после революции. Невероятно изменилось. Э, дорогой Баркан, вы сейчас меня ненавидите, а я вовсе не заслуживаю этого – даю вам слово честного человека, я беседую с вами по-товарищески, я только хочу сказать вам, что вы неправильно ведете себя и не понимаете чего-то самого главного. Ваш отец, допустим, жил и работал в прекрасном городе Курске. И он знал: сын вернется врачом, фамилия та же, вывеска почти не изменится, пациенты будут с теми же фамилиями, мадам Черномордик молится на Шарко, и ее семья молится на Шарко – ваш папаша лечил ее в этом духе, и вы будете лечить ее и ее семью совершенно так же. Купец Ноздрев любит, чтобы доктор сначала перекрестился на иконы, а потом подошел к больному, вы будете знать эти

штуки, ваш папенька крестился, и вы перекреститесь, так? Ничего, что ваш папенька и вы сами несколько не верите в бога, вы ведь постоянный врач, так? Подождите, не перебивайте! И вот ваш папенька, почтенный доктор из Курска, советует сыну – иди на медицинский. Иди, перемучайся четыре года, я посадил садик, ты будешь собирать с него плоды, так? Ты войдешь в дело. Был такой разговор? А? Я вижу по вашему лицу, что был. Но только ваш папа запоздал, и вы этого не заметили и погубили к черту свою жизнь. Боже сохрани, доктор Баркан, я не хочу сказать этим, что вы вообще плохой человек или неважный работник. Но только ваша нынешняя специальность не дала вам возможности вылупиться из скорлупы, понимаете? Строй вы мосты – может быть, вы бы отлично их строили, во все ваши скрытые силы. Или пищевая промышленность, или резолюции на бумаге – оплатить, отказать, выдать двести тонн. Может быть, лучше вас никто бы этого не сделал. Я не знаю. Но зато я твердо знаю, что тут, у меня, на войне, где люди отдают все, что имеют, и даже больше того, что имеют, вот здесь, в госпитале, вы чего-то не понимаете. Я говорю вам не как ваш начальник, я говорю вам не потому, что делаю вам выговор, я говорю вам не потому, что у меня плохой характер, хотя за последнее время, правда, я стал несколько раздражителен, я говорю с вами потому, что должен вам все сказать начистоту, иначе мне трудно с вами работать. Доктор Баркан, наша специальность очень трудна, и надо потерять что-то внутри себя, чтобы заниматься ею и не понимать всего этого. Послушайте, мне неудобно говорить вам такие вещи, но вот, например, сегодня вы смотрели раненого – левая стопа, я не помню, как его фамилия, вы сбросили с него одеяло. Кругом стояли Варварушкина, и Анжелика, и санитарки. Зачем вы сбросили с него одеяло? Ведь он не только раненый, он молодой офицер, ему неловко, нельзя же не понимать таких вещей!

– А как его фамилия? – спросил Баркан.

– Это все равно, – сказал Левин.

– Нет, я просто к тому, – сказал Баркан, – что, толкуя о людях, надобно знать их фамилии. Вот вы делаете мне выговор, а сами не знаете толком ни одной фамилии.

– Я не делаю вам выговор, – с тоскою ответил Александр Маркович, – я же пытаюсь договориться с вами, как человек с человеком. Или разговоры могут быть только приятные?

Ведь бывают же и суровые разговоры, жестокие. Ну, а что касается до фамилии, то это мое несчастье. Как-то нашелся уже один молодой человек – он пропечатал меня в стенной газете за нечуткость, он считал, как и вы впрочем, что самое главное – это фамилия. Называть по имени-отчеству – и спокойно спать в свое дежурство. Так вы считаете? Но у меня плохая память на фамилии, на даты, я не помню день своего рождения, так что из этого? Что мне делать? Переменить специальность? Пойти опять в ученики к сапожнику, как пятьдесят лет тому назад? Вы это мне советуете? Но ведь наша специальность состоит не только из того, чтобы знать имя и отчество...

– Судя по вашему монологу, именно из этого, – сказал Баркан. – Впрочем, продолжайте.

Я обязан вас слушать, мы ведь на военной службе.

– Да, вы обязаны, – внезапно покраснев, крикнул Александр Маркович, – в таком случае вы обязаны. И не только слушать, но выполнять все, что я вам приказываю, иначе я найду другой способ заставить вас подчиняться.

Баркан встал, и Левин не предложил ему больше сесть. Беседа кончилась. Покраснев пятнами, сверкая очками и немного заикаясь от волнения, Александр Маркович сделал Баркану выговор. Он был начальником, а Баркан подчиненным. И слегка торчащие, твердые уши Баркана, и его красивые седые виски, и значительный подбородок, и толстая шея, на которой крепко и неповоротливо сидела крупная, несколько квадратная голова, и намечающийся живот – все это показалось Левину искусственным, придуманным для той солидности, которая всегда ему претила в преуспевающих провинциальных врачах. О, этот клан, этот цех ремесленников, покрывающих страшные ошибки друг друга, – сколько таких людей он знал в дни юности, когда он только собирался быть врачом, но другим, совсем иным, чем они – в своих визитках или чесучовых парах, сытые, покойные, прописывающие

лекарства, в которые они не верили, те самые, которые так взъелись на Вересаева за его "Записки врача", те, которые в юности пели "Гаудеамус игитур", а потом строили себе доходные дома...

Да, но при чем здесь Баркан?

Ведь это только внешность, только манера держаться, это еще не суть человека. И имел ли он право так разговаривать с Барканом? Человеку за пятьдесят, он много работал, читал какие-то лекции или даже вел курс...

– Я могу идти? – спросил Баркан.

– Еще несколько минут, – сказал Александр Маркович, и тоном, которым была произнесена эта фраза, испортил весь предыдущий разговор. Так не просит начальник подчиненного. Так не говорит волевой подполковник медицинской службы. Что за дурацкая мягкотелость, будь он неладен, этот доктор Левин. Уставные взаимоотношения есть уставные взаимоотношения, они придуманы умными людьми для пользы дела. А теперь, конечно, поскольку служебный разговор кончился, хитрый Баркан мгновенно оценил обстановку: он опять сел на диван и даже заложил одну короткую ногу на другую. Левин еще раз прошелся по ординаторской, по знакомым скрипящим половицам. Скрипели третья, шестая и семнадцатая. Третья – начиная от стола.

Это его всегда успокаивало.

– Да, вот какие дела, – сказал он, – вот какой вздор мешает иногда жить и работать...

Ах, как это было неправильно! Разве же это был вздор? А он теперь словно зачеркивал весь предыдущий разговор, словно извинялся за выговор.

– Впрочем, это не вздор! – сказал он громче, чем прежде. – Это, конечно, не вздор. Возвращаясь к вопросу насчет нынешнего вашего разговора при раненом Феоктистове...

– Федоровском... – поправил не без удовольствия Баркан.

– Федоровском, – повторил Левин, – Федоровском, да, совершенно верно. Так вот, возвращаясь к этому разговору, нахожу ваши суждения о работе сердца раненого в его присутствии не только неуместными, но и не соответствующими элементарным этическим нормам нашей медицины. Что это значит: "У вас машинка никуда не годится!" Кто дал вам право делать такие заключения при самом раненом...

– Работа в клинике приучила меня... – начал было Баркан, но Левин не дал ему кончить.

– Мне плевать на вашу клинику! – крикнул он громким, дребезжащим голосом и вдруг почувствовал, как растет в нем сладкое, захлестывающее чувство бешенства. – Мне плевать на вашу клинику, и на вашу дурацкую важность, и на то, что вы читали лекции! Мне плевать на вашу самоуверенность! – Он вдруг затопал ногами с наслаждением и уже как в тумане видел вдавливающегося в спинку дивана Баркана. – Да, мне плевать! Еще слишком много у нас господ, имеющих раздутые научные звания, чтобы я становился смиренно перед одним только званием. Анжелика значит для меня больше, чем то, что вы – доцент. Вы защитили вздор, но жизнь все равно рано или поздно отберет у вас все ваши бумаги, и вы останетесь перед ней таким, как есть, Мне все равно, какая у вас была клиника, я работаю с вами и вижу – у вас лежит раненый летчик, а вы смеете ему говорить, что если бы у него была "хорошая машинка", так он бы наверняка выжил, а так вы снимаете с себя всякую ответственность. Снимаете? Снимаете ответственность? Тут люди отдают свою жизнь, вы понимаете это или не понимаете? – И мелкими топающими шажками он пошел к дивану, спрашивая раз за разом: – Понимаете?

Баркан поднялся.

Все его большое, значительное, уверенное лицо дрожало. Впрочем, Левин не видел этого. Он видел только большое белое пятно и этому пятну крикнул еще раз:

– Понимаете? Потому что если не понимаете, то мы найдем способ освободиться от вас! Тут не испугаются вашей профессиональной внешности! Я – старый врач и великолепно знаю все эти штуки, но сейчас, слава богу, иные времена, и мы с вами не состоим в цехе врачей, где все шито-крыто. Запомнили?

– Запомнил! – сказал Баркан.

– Можете быть свободным! – опять крикнул Александр Маркович.

Баркан, склонив мягкое тело в некоем подобии полупоклона, исчез в дверях. А оттуда, из коридора, сразу вошла Анжелика Августовна и поставила на письменный стол мензурку с каплями.

Левин ходил из угла в угол.

Анжелика стояла у стола в ожидании.

– Подслушивать отвратительно! – сказал Александр Маркович.

– Я не подслушивала, – совершенно не обидевшись, ответила Анжелика. – Вы так кричали, что слышно было во второй палате.

– Неужели?

Анжелика пожала плечами. Сизый румянец и очень черные коротенькие бровки придавали ее лицу выражение веселой властности.

– Я тут доложить кое-что хотела, – сказала она, выговаривая «л» как «в», так что у нее получалось «хотева» и "довожить".

– Ну, «довожите», – ответил Левин.

Анжелика пожаловалась на санитарку Воскресенскую. Лора целыми часами простаивает на крыльце со стрелком-радистом из бомбардировочной. Фамилия стрелка – Понтюшкин. Такой, с усиками.

– Ну и что? – спросил Левин.

– То есть как – что? – удивилась Анжелика, и лицо ее стало жестким. – Как – что?

О нашем отделении пойдут разговоры...

– Э, бросьте, Анжелика, – сказал Левин. – Лора работает как лошадь, а жизнь между тем продолжается. Мы с вами люди пожилые, но не надо на этом основании не понимать молодости.

Да и вы вот, несмотря на возраст, говорите вместо «л» «в», хоть отлично можете говорить правильно. Идите себе, я устал, и не будьте «звой». Идите, идите...

Анжелика поджала губы и ушла, ставя ноги носками внутрь, а Левин прилег на диван, совершенно забыв про капли.

"Имел ли я право так кричать, – спросил он себя, вытягивая ноги на диванный валик, – и вообще, имел ли я право в таком тоне разговаривать со своим коллегой, доктором Барканом? Чем я лучше его? Только тем, что чувствую такие вещи, которых он не чувствует? Ну, а если уметь чувствовать – то же самое, что, например, быть блондином или брюнетом? Если это не зависит от Баркана? Тогда что?"

Эта мысль поразила его.

– Фу, как нехорошо! – вслух сказал Александр Маркович и сел на диване.

Потом он принялся обвинять себя и сравнивать с теми людьми, с которыми жил все эти годы, то есть с военными летчиками. Сравнивая, он спрашивал сам у себя, мог ли бы он делать то, что делали они в эту войну, например: мог ли бы пикировать на цель, в то время как эта цель бьет из пушек и пулеметов; мог ли бы летать на низкое торпедометание, мог ли бы летать на штурмовку? И вправе ли он сам требовать от Баркана того, чего, не в прямом смысле, а в переносном, сравнительно, так сказать, он не мог бы сделать сам? Вот люди отдают решительно все в этой войне. А он, Левин?

И Александр Маркович стал предъявлять к себе требования, одно другого страшнее, одно другого невероятнее, до тех пор, пока совершенно вдруг не запутался и не усмехнулся своей доброй и немного сконфуженной улыбкой.

"Э, старый, глупый Левин!" – сказал он себе и пошел спать, чтобы хоть немного наконец отоспаться перед предстоящим испытанием костюма.

В восьмом часу в дверь постучали, и старшина со шлюпки сказал, что явился согласно приказанию подполковника медицинской службы.

Александр Маркович спустил ноги в белых носках с койки и долго дикими глазами смотрел на краснощекого, зеленоглазого старшину.

– Да, да, как же, – сказал он наконец, – присаживайтесь, закуривайте, там на столе есть хорошие папиросы.

Старшина вежливо, двумя пальцами, как большую ценность, взял папироску, прочитал на мундштуке название «Фестиваль» и, сделав почтительное выражение лица, закурил.

Левин, сопя, надел очки, отыскал ботинки и долго их зашнуровывал, вспоминая всю прошлую ночь, спасательный костюм и бледное маленькое лицо Курочки.

– Волна сегодня большая, – сказал старшина, которому казалось, что подполковник чем-то недоволен, – тут некоторые ребята с моря на ботишке пришли, так говорят, баллов на три или даже на четыре. Как бы нонче товарища военинженера не ударило чем...

– Военинженер выбыл в командировку, – все еще сопя над ботинком, но строгим тоном ответил Левин, – испытания буду проводить я лично.

Старшина удивленно поморгал, но тотчас же взял себя в руки и сделал такой вид, как будто бы поглощен сдуванием пепла с папироски. Александр Маркович теперь расшнуровывал ботинки, они не годились для спасательного костюма, спросонья он забыл об этом.

Минут через сорок они вышли из госпиталя и отправились вниз к пирсу.

Сырой ветер свистел между домами гарнизона, залив гудел, точно предупреждая: "куда лезешь, с ума сошел?"

– Погодка! – ежась, сказал старшина.

– Нормальная погода, – ответил Левин словами знакомого летчика, – рабочая погода. – И про себя подумал: "Всем людям страшно. И мне тоже страшно. Но я буду держаться, как держатся они. В этом весь секрет, если хотите знать, Александр Маркович. Даже странно, что вы открываете такие истины только на шестом десятке".

Старшина в это время рассказывал ему про свою сестру, которая тоже работает по медицинской линии. Звать ее Кира. Один моторист – некто Романов – еще перед войной так сходил с ума по Кирке, что даже повесился, но веревка была гнилая, а он весит центнер, и веревка перервалась...

– Какая веревка? – спросил подполковник.

– Та, на которой он повесился, – охотно пояснил старшина. – Глупость, конечно, из-за любви вешаться, осудили мы его на комсомольском собрании. Ну и Кирке неудобно было. Так теперь Романов на флоте на нашем служит, сам смеется, а только я его недавно видел, так он говорит, что иногда икота на него нападает с того случая. По два дня икает. Может это быть в научном отношении?

– В научном отношении все может быть, – сказал Александр Маркович строго. – Не вешался бы, так и не было бы ничего...

– Вот и Романов считает, что это как осложнение, – вздохнул старшина.

На пирсе стоял краснофлотец с автоматом, и Левин тем же строгим голосом сказал ему: "Выстрел!" Из мехового воротника полушубка краснофлотец буркнул: «Вымпел», и они пошли дальше. Тут ветер выл с такой силой, что даже захватывало дыхание, но все-таки Александр Маркович первым спустился в шлюпку, колотящуюся о сваи, и сел на корме – длинный, в очках, очень странный в своем спасательном костюме, который шелестел и скрипел, напоминая все ту же марсианскую одежду из фантастического романа.

Старшине дежурный долго не давал «добро» на выход в залив, и они препирались до тех пор, пока Левин сам не вошел в будку и не накричал на дежурного в том смысле, что испытания спасательных костюмов надо проводить не в санаторно-курортных условиях, а в условиях, максимально приближенных к будням войны. Пока Левин каркал, дежурный стоял перед ним навтыжку, спрятав самокрутку в мундштуке за спину, и негромко повторял:

– Ясно, товарищ подполковник, понятно, товарищ подполковник, есть, товарищ подполковник!

Но стоило Александру Марковичу замолчать, как дежурный собирал лоб в морщины, вынимал из-за спины самокрутку и говорил настырным, вялым тенором:

– Не имею права, товарищ подполковник.

Пришлось звонить Зубову.

– А плавать-то вы умеете? – спросил начштаба. Левин ответил, что умеет.

Было слышно, что Зубов что-то спрашивает там, у себя в кабинете, потом Александр Маркович услышал смех, потом трубку взял командующий и предупредил:

– Только, подполковник, без чрезвычайных происшествий. Поосторожнее, слышите?

А еще лучше, шли бы вы к себе в госпиталь.

Можно было не испытывать костюм. И Левин уже чуть не ответил после огромной паузы, что «слушается», но именно в это мгновение он увидел на столике перед дежурным флотскую многотиражку с портретом Володи Боровикова, утонувшего с ничтожным ранением, того самого Володи, которому он так недавно выпилил часть ребра и вытащил его из очень неприятного гнойного плеврита, и эта фотография вдруг решила все дело. Очень сухо он доложил командующему, что не считает возможным откладывать испытания и настаивает на испытании нынче, так как лейтенант Боровиков утонул именно в такую погоду.

– Именно, именно, – сказал командующий, – вы-то сами не утоните. – Помолчал и добавил: – Ну, добро, только поосторожнее там. Кто у вас старший из моряков, дайте-ка ему трубочку...

Старшина сразу вспотел, взял трубку и, продув ее, сказал: "Есть!"

Теперь уже не было сомнений в том, что они выйдут в залив и что испытания придется проводить. Но сейчас это было совсем не страшно, потому что тут, в будке дежурного, жарко пылала печурка и тикали ходики, и звуки плещущего и воющего моря казались такими далекими, как это бывает в кино, когда смотришь на экран и видишь на нем пляшущее море с маленьким корабликом, а самому тебе уютно и хорошо сидеть, еще более уютно оттого, что на экране свистит ветер и мчатся огромные валы с белыми гребешками.

– Есть, товарищ генерал-лейтенант! – сказал старшина и, осторожно положив трубку, обтер о бушлат вспотевшую ладонь.

– У меня все, – сказал Левин дежурному и вышел. Дежурный козырнул и сразу же захлопнул за ними дверь, чтобы не выстудить свое чистое и теплое помещение, где он будет опять читать газету.

Когда они вновь спустились в шлюпку, старшина вдруг закричал Левину в самое ухо, что он, старшина, нынче проведет испытания на себе, а завтра уже будет испытывать лично товарищ подполковник. В этом была своя логика, но Левин жестко ответил, чтобы отваливали от пирса и что он не нуждается в советах. У старшины обиженно оттопырились пухлые губы, краснофлотцы враз подняли весла, шлюпка взлетела вверх и скатилась вниз, и луна, прыгающая в тучах, внезапно оказалась не перед Левиным, а за его спиной, – залив сразу осветился и сделался еще страшнее, еще злее, еще опаснее.

– Вот тут будет хронометр, – кричал Левин обиженному старшине, – видите? А это вы мне дадите выпить, если я ничего не стану соображать. Тут небольшая аптечка. Кто из вас санинструктор?

Санинструктору он тоже кое-что объяснил и заставил повторить, где что приготовлено.

– Хронометр! – кричал старшина. – Аптечка! Это – выпить!

Пошли к вчерашней вешке. Луна теперь была слева. По заливу осторожно, точно большая рыба, скользнула подводная лодка, на мостике мигали огоньки ратьера.

– Вешка! – крикнул старшина.

Вчерашних лимонов тут больше не было, и вообще со вчерашнего дня здесь все совершенно переменялось, то есть даже и не переменялось, а просто это было другое место, и вовсе не в заливе, а в море, или, быть может, дальше, в океане, и вешка была теперь не похожа на ту, которая вчера неподвижно и гордо торчала из тихой воды, – теперь это была какая-то дрянная щепка, которая металась по волнам и пропадала и вновь появлялась на мгновение.

Александр Маркович поднялся с банки и просунул руку в карман, чтобы, раздернув молнию, вскрыть химическую грелку, но тут же решил, что это делать еще рано, и,

помедлив, вновь испугался до того, что зазвенело в ушах и началась тошнота. А между тем наступило время прыгать в поду, – краснофлотцы удерживали шлюпку веслами, и ее теперь только мотало с волны на волну, небыстро и неуклюже.

"Прыгать в воду, боже мой! – в эту стылую, черную, ледяную воду, прыгать так, за здорово живешь, прыгать, не очень умея плавать, прыгать на шестом десятке, прыгать..."

Лодку сильно покачивало, и, чтобы не упасть, Левин держался за плечо старшины, и старшина тоже держал его за руку возле локтя, а все другие краснофлотцы смотрели на него и ждали, покуда он справится с собою и просчитает до трех. И Александр Маркович поступил так, как поступил в свое время Володя Боровиков, – он сделал то, что надо было сделать, забыв только, что прыгать следует после счета «три», а не после счета «четыре». Впрочем, это было неважно: он сказал себе «четыре», и тотчас же чувство раздражения на себя и на свое малодушие сменилось чувством спокойного удовлетворения, радостного удивления самим собой, чувством твердой уверенности в самом себе, – он был уже в воде, капка сработала, костюм раздулся, от грелок по ногам к животу побежало тепло. И вода понесла его на себе, а рядом с ним шла шлюпка, и краснофлотцы смотрели на него сверху вниз. Их руки были напряжены – каждую секунду они готовы были вытащить его из воды. Еще бы! Александр Маркович не знал, какими словами старшина пересказал свой разговор с командующим.

"Теперь мне не нужно думать о себе, – размышлял Левин. – Теперь обо мне будут думать они. Ведь я делаю это дело для них – значит, теперь я должен совершенно сосредоточиться на испытании костюма, они же совершенно сосредоточатся на моей особе".

Отплевываясь от соленой воды, он прислушался к своему сердцу и отметил, что оно работает удовлетворительно, прислушался к теплу грелок и нашел, что тепла достаточно, перевернулся на живот и поплыл, испытывая свободу покроя костюма и стараясь для этого загребать руками как можно шире и резче. Покрой был тоже хорош и удобен.

"Чего же не хватает Курочке? – спросил он себя. – Чего еще нужно инженеру от нашего костюма?"

Волна то поднимала его вверх, то швыряла вниз с такой быстротой и силой, что дух захватывало, но теперь он не испытывал страха, потому что, во-первых, был занят своим спасательным костюмом, во-вторых, совершенно доверился команде на шлюпке, которая все время, каждую секунду была с ним, над ним, настолько близко от него, чтобы он не беспокоился, и настолько далеко, чтобы не зашибить его ни бортом, ни веслом.

Потом, обвыкшись в воде, он вспомнил, что непременно надо испытать все неудобства приема пищи здесь, и стал доставать питательные таблетки. Это была трудная и сложная работа, и ему сразу же стало понятно, что они с Курочкой недостаточно продумали эту часть задачи, но все же он достал таблетки и принялся их жевать вместе с горько-соленой морской водой, которая попала в рот, как он ни ловчился...

И пока он сжевал всю пачку таблеток, над ним висели лица краснофлотцев, пристально в него всматривающиеся и что-то говорящие большими темными ртами. Он не слышал, что именно они говорили, но был уверен, что они или советуют ему что-нибудь, или сочувствуют ему, или хвалят его – одним словом, помогают ему всем, чем только могут.

А потом они все сидели в дежурке на пирсе. Краснофлотцы стащили с него спасательный костюм, и он рассказывал им, что он чувствовал, когда пробыл в ледяной воде три часа, и старшина все советовал ему подвинуться поближе к раскаленной печурке, но ему не было холодно и только хотелось еще и еще рассказывать, какая это хорошая вещь – спасательный костюм – и какие у этого костюма огромные перспективы в будущем.

Часы-ходики щелкали на стене, ветер свистел над заливом, пришел почтовый бот и еще две какие-то коробки, и двери захлопали раз за разом. Наступило утро. Доктор Левин поднялся и в чужом черном полушубке пошел домой – в госпиталь. Краснофлотцы несли за ним его спасательный костюм, чемодан с хронометром и другими инструментами, саквояж, в котором булькал так и не выпитый коньяк. Уже возле госпиталя он услышал это бульканье, достал фляжку, отвинтил стаканчик и поднес старшине.

– Вам первому, товарищ подполковник, – в свисте ветра сказал старшина, но на всякий случай обтер губы.

Александр Маркович выпил вторым – после старшины – и потом налил каждому по очереди.

– За ваше! – сказал квадратный краснофлотец Ряблов.

– Чтобы не по последней! – сказал маленький Иванченков.

– От простуды и от всякой такой заразы! – провозгласил басом из самого живота краснофлотец, которого Левин все время называл Петровых, но который на самом деле был Симочкин, хоть и откликнулся на Петровых.

Тут, под стеной госпиталя, они и расстались до завтра, до двух часов пополудни, когда должен был прибыть начсан полковник Шеремет.

7

В вестибюле, еще розовый от ветра, стоял замполит Дорош и грел руки у радиатора. Молескиновая летная куртка на нем была расстегнута, порою он прижимался животом к теплым трубам и кряхтел от удовольствия. Левин спросил у него, что он тут делает так рано. Дорош ответил, что он прогуливался и замерз, а теперь греется. Вместе пошли в ординаторскую и потребовали у ночной санитарки по стакану чаю. Садясь, Дорош болезненно сморщился, лицо его внезапно побледнело.

– Ох, вы мне надоели, – сказал Левин, – я на это просто не могу смотреть. Давайте наконец займемся вашей культурой. Не такое уж большое дело ее оформить по-настоящему...

Дорош потерял ногу еще в финскую, культя была неудачно сформирована, и временами он тяжело страдал, во в госпиталь не ложился – все откладывал.

– Вот после победы, – сказал он и сейчас, – отвоюем, тогда поработаем над собой. Согласны?

– Ваше дело, – ответил Левин, – только ваше, никто не имеет права вмешиваться.

Оба попили чаю молча, наслаждаясь теплом и тишиной.

– Ну, что костюм? – спросил Дорош. – Я дважды на пирс ходил, да вас все не было...

Вот, оказывается, как он прогуливался!

Левин поднял очки на лоб и молча посмотрел на замполита. Тот улыбался прищурившись, покуривал трубочку, в груди у него сипело, там тоже были какие-то непорядки с финской войны.

– Следующий раз я буду испытывать, – сказал он, – интересно, выдержит ли ваша машина безногого летчика. Как вы думаете, Александр Маркович?

– Вы же штурман.

– А штурман – не летчик? Впрочем, сейчас я не то и не другое. Только снится иногда, что лечу. Так это, говорят, всем детям снится, которые растут. Вам снилось, что вы летаете?

Левин слабо улыбнулся и сказал с грустью:

– Всем людям в детстве снились хорошие сны, а мне нет. Мне всегда снилось, что меня бьют: или колотят шпандырем, или учитель латыни сечет по пальцам, или мальчики "жмут масло". А потом, позже, в Германии, в Йене мне снилось, что меня выгоняют – недоучкой. Это были невеселые сны, товарищ Дорош. Дома пять братьев и две сестры – и одна надежда на то, что я кончу курс, стану врачом и помогу остальным выйти в люди...

– Помогли?

– По мере возможностей. Один скончался в тюрьме в тринадцатом году, двое, как я, врачи, самый младший – в противотанковой артиллерии, писем нет...

И Александр Маркович задумался, покачивая головой.

– Ну, ладно, – сказал Дорош, – спать вам пора, товарищ подполковник. А про то, как выкручивали уши, – лучше не думать. У меня тоже есть кое-что вспомнить в этом смысле, да я предпочитаю не вспоминать. Кстати о неприятностях: кончились ваши дразги с Барканом?

Левин вздохнул и не ответил.

– Не хотите говорить? – спросил Дорош, вглядываясь в подполковника. – Вы вот помалкиваете, а Баркан на вас жалуется.

– Я действительно, видимо, кое в чем перед ним виноват, – сказал Левин, – не во всем, но кое в чем...

Я начальник – и если у меня нет общего языка с моим подчиненным, то, значит, виноват все-таки я. У меня нет к этому человеку ключа – вот и все. И, наверное, я его обидел. Да, да, конечно, обидел, тогда, когда должен был ехать в Москву, – помните? А в заключение скажу вам – вы не можете себе представить, как мне опротивели все эти дразги...

Дорогая Наталия Федоровна!

От одного коллеги узнал, что он видел недавно Николая Ивановича в добром здравье на одном пункте вблизи Черного моря. Н. И. там инспектировал и наводил порядок. Коллега видел Вашего супруга всего два дня тому назад.

Прочитав в газете сообщение о присвоении Н. И. звания генерал-лейтенанта медицинской службы, я сказал своим сотрудникам: «А вот генерал, с которым я учился в университете, но который был неизмеримо способнее меня, во-первых, и неизмеримо счастливее, во-вторых».

Счастливее, потому что Вы вышли замуж за него, а я остался старым холостяком. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Какой из меня муж! Вчера я пришел домой в одной калоше, представляете себе? И не по рассеянности, а просто она потерялась на улице, и я никак не мог ее отыскать, хоть пиши объявление, что, как Вы понимаете, во время войны не слишком прилично.

Тот самый Белых, о котором я Вам писал, уже эвакуирован в один из госпиталей, находящихся под руководством Н. И. Состояние моего доктора удовлетворительное, но и только. По мере сил он сдерживается – это ему довольно трудно. Ей-ей, я не увлекаюсь, когда думаю о нем как об истинном светиле на небе нашей хирургии. Очень прошу Вас, дорогая Н. Ф., навещайте его почаще. Это не просьба о «чуткости по знакомству» – это наша с Вами обязанность. Мы обязаны сделать для него все, что в наших силах, и даже несколько больше. Вашему сыну Витьке я написал. Этот товарищ не посчитал нужным пока что ответить. А может быть, их подразделение в боях – бывает и такое.

Мне присвоили звание подполковника м. с. А Вам, дорогой товарищ? Мне лично кажется, что майора Вам многовато, а капитана мало. Напишите.

На днях у нас будет общефлотская конференция хирургов, на которой я надеюсь выступить с некоторыми обобщениями.

Вы спрашиваете о здоровье. Оно оставляет желать лучшего.

Всегда Ваш А. Левин

8

Ему было уже немало лет – уже не пятьдесят семь, как в первый год, а пятьдесят девять, и болезни, о которых он думал раньше, не связывая их с собою, нынче и самом деле привязались к нему. И отчаянные изжоги, и несварение, и головные боли – все это еще было полбеды по сравнению с теми жестокими болями в желудке и с тем омерзительным привкусом жести во рту, которые – чем дальше, тем больше – не давали ему ни спокойно поработать, ни спокойно выспаться. Все вместе это было очень похоже на язву, но он не хотел об этом думать, так же как не хотел глядеться в зеркало, чтобы не видеть мешочков под глазами, морщин и землистого цвета лица.

В девять часов утра он проснулся от страшной тянущей боли и позывов на рвоту. Рядом, в мочной, пели прачки и скрипел барабан. По полу волнами ходила вода-теперь проклятая труба лопалась без всяких бомбежек.

"Ты добился своего, – подумал Левин, – ты имеешь наконец язву. Ты накликнул ее себе,

старая ворона. Ну-ка, что ты будешь сейчас делать?"

Чтобы не стонать, он принялся раскачиваться, сидя па своей койке. В воде, заливавшей пол, отражалась яркая лампочка, и отражение это, сверкая и дробясь, преломлялось в стеклах очков, отчего все вокруг было наполнено нестерпимым, сверкающим светом.

– Хирургическое отделение останется майору Баркану, – сказал Александр Маркович, – прошу вас представить себе это в подробностях, подполковник Левин... И еще несколько фраз он сказал ироническим голосом, но это совершенно ему не помогло. Он даже не слышал собственных слов, не понимал их смысла, ничего не видел перед собою, кроме режущего света. И кто-то с упрямой, идиотической силой вытягивал из него желудок.

.. На мгновение ему стало легче. Он даже успел подумать, что бывал несправедлив к раненым, потому что не понимал, как ужасны могут быть физические страдания. И, думая так, он открыл дверь, поскользнулся в воде и ударился о косяк прачечной. Ведь он был без очков, они свалились, когда его тошнило. О, унижение физических страданий!

И дверь в прачечную он никак не мог увидеть еще и потому, что дикая боль вновь поглотила весь его разум.

Но тут дверь отворилась сама собою, и сам собою он очутился на воздухе. Мокрые, сильные женские руки, в мыльной пене по локоть, оказались над его лицом, эта пена упала с шорохом ему на глаз и на бровь, и он оказался на носилках. Носилки понесли наверх головою вперед, по всем правилам поднимая изножье.

Старший сержант Анжелика Августовна, сдерживая слезы, точно над покойником сказала:

– О боже мой, ему, конечно, нельзя было кушать эту ужасную капусту с луком.

Когда Анжелика волновалась, у нее делался почти мужской голос. И букву «л» она произносила совершенно правильно. Даже сейчас он заметил, что она сказала «лук», а не "вук".

Все другие вокруг говорили шепотом.

Левин лежал с закрытыми глазами, прислушивался к утихающей после укола боли и разбирался в том, кто как шепчет. Вот захрипел и закашлял Баркан, он совершенно не умел говорить шепотом и всегда кашлял, вот взволнованно и сердито ответила ему капитан Варварушкина, вот быстро-быстро, пришепетывая и глотая слова, заговорила Верочка.

А потом стало тихо, и заскрипел протез – это Дорош ушел из палаты.

Тотчас же раздались громкие, властные шаги: вот отчего ушел Дорош, он ушел потому, что появился Шеремет, они давно не любили друг друга. И сразу же Шеремет сказал тем голосом, которым он обычно распекал своих подчиненных:

– Теперь собрание проводите? Ну, конечно, довели мне Левина до стационара и митингуете! Вы что, Баркан, думаете, у меня санаторно-курортное управление?

У меня, Баркан, не курорт для вас и не санаторий, у меня, Варварушкина, не фребелевский детский садик, у меня военный госпиталь, я не позволю...

Александр Маркович сморщился.

У него стучало в висках, когда Шеремет начинал свое "у меня". Он сам чаще Шеремета кричал на подчиненных, но это всегда происходило оттого, что он не мог не накричать. Шеремет же кричал только потому, что считал нужным держать "вверенных ему людей" в страхе, так же, впрочем, как считал необходимым порою, разговаривая с врачами, обращаться к ним "как интеллигентный человек к интеллигентному человеку".

– Здравствуйте, товарищ полковник! – сказал Левин, неохотно открывая глаза только для того, чтобы прекратить этот крик.

– Салют! – ответил полковник.

Он был очень чисто выбрит, шинель у него была с каракулевым воротником, не говоря уже о том, что шил ее тот самый старшина, который обшивал самого командующего. Шеремет вообще был щеголем, он носил на шее белое шелковое кашне, фуражка у него была с маленьким, подогнутым внутрь козырьком, из расстегнутой шинели виднелся китель – тоже какой-то особенный, не такой, как у всех. Халат, без которого не разрешалось входить в

госпиталь, начсан накинул только на одно плечо, как бы подчиняясь правилам и в то же время выражая свое к ним ироническое отношение. Кроме того, набрасывая халат на одно плечо, Шеремет давал этим понять, что он слишком занят и не может на каждой своей «точке» надевать и снимать халат со всеми завязками, пуговицами и тому подобной ерундой.

– Вы опять в шинели! – слабым голосом произнес Левин.

– А вы даже из гроба мне об этом скажете! – ответил Шеремет. – Просто удивительно, до чего вы обюрokratились, Александр Маркович. Ну-ка, дайте-ка мне вашу лапку.

И, сделав такое лицо, какое, по его мнению, должно было быть у лечащего врача, Шеремет взял своими толстыми, лоснящимися пальцами худое запястье Александра Марковича.

Левин, прикрыв один глаз, смотрел на Шеремета. А Шеремет, глядя на секундную стрелку своих квадратных золотых часов, шептал про себя красными губами:

– Двадцать два... двадцать три... двадцать четыре.

В палате было очень тихо. Не каждый-то день тут начсан считает пульс. Может быть, этим актом он подчеркивает свою чуткость по отношению к захворавшему Левину.

– Мне вашей чуткости не надо, – вдруг сказал Александр Маркович, – вы мне подайте что по советскому закону положено.

– Как? – спросил Шеремет.

– Просто вспомнил один трамвайный разговор в Ленинграде, – ответил Левин, – но это, разумеется, к делу никакого отношения не имеет.

Шеремет обиженно и значительно приопустил толстые веки.

– Наполнение вполне приличное! – наконец сказал он.

И, положив руку Александра Марковича поверх одеяла, похлопал по ней ладонью, как делают это старые лечащие врачи.

– Так-то, батюшка мой! – произнес Шеремет. – Укатали сивку крутые горки. Не послушались меня, не поехали отдохнуть...

Левин все еще смотрел на начсана одним глазом.

– Теперь придется не день и не два полежать...

И Шеремет стал рассказывать, что у китайских врачей существует до пятисот пульсов. Рассказывал он долго, значительно, и рассказ его было неловко слушать, потому что многое он подвирал. Потом, сделав суровое лицо, Шеремет приступил к распоряжениям.

– Для подполковника надо очистить эту палату, – велел начсан, – совершенно очистить, и оставить только одну койку – самому Александру Марковичу. Странно, что без меня никто не догадался это сделать, смешно отдавать приказания по поводу очевидных вещей.

– Палату для меня очищать не надо, – слабым голосом возразил Левин. – Зачем мне очищать палату. Я никому не мешаю, и мне никто не мешает...

Он глубоко вздохнул и негромко добавил:

– Я не нуждаюсь ни в чем особенном и отдельном. Вы понимаете мою мысль?

Он плохо видел без очков, и, может быть, это обстоятельство придало ему мужества. Шеремет умел так таращить свои выпуклые глаза, что у Александра Марковича раньше не доставало сил ему возражать. А теперь перед ним было только плоское, белое, гладкое лицо и больше ничего. А может быть, очки тут были и ни при чем. Может быть, Шеремета вообще не следовало бояться.

– Хорошо, – сказал Шеремет. – Оставьте нас.

Все ушли почтительно и подавленно. Анжелика громко издохнула, несколько даже с вызовом. Майор Баркан покашлял в кулак.

Шеремета боялись и не любили.

– Ну, что будем делать? – спросил полковник. Левин пожал под одеялом худыми плечами.

– Если это язва. – опять начал Шеремет. Александр Маркович смотрел на него одним глазом неподвижно и иронически. Шеремет говорил долго и неубедительно. Его всегда раздражал Левин – нынче же особенно. И главное – молчит. Почему молчит? Ведь он ему

предлагает письмо к виднейшему хирургу и делает это из самых чистых побуждений. А он молчит и смотрит одним глазом.

– Почему вы молчите? – спросил наконец Шеремет.

– Я все жду, когда же вы спросите про спасательный костюм.

Старший сержант Анжелика Августовна принесла Левину очки, и он в то же мгновение увидел, какое сдержанно-ненавидящее лицо у Шеремета, но теперь не оробел. Ему самому это показалось странным, но он не оробел. Может быть, после той минуты, когда он решил прыгнуть в залив, он вообще не будет робеть? Странные вещи творятся даже с немолодыми людьми на белом свете, если для них существует что-то самое главное. И что оно – это главное? И когда оно начинается? Когда это все началось у Володи Боровикова? Или Володя уже с этим родился? Нет, Володе не нужно было ничего преодолевать.

– Я не хотел с вами говорить о делах, – донесся до него голос Шеремета, – но если уж на то пошло, то, прежде чем беседовать о спасательном костюме, два слова о бане и о вашем подчиненном, вернее о вашей подчиненной Варварушкиной. Только два слова. Вам не тяжело говорить?

Левин сделал гримасу, которая означала: "Какой вздор".

– Александр Маркович, дорогуша, – продолжал Шеремет, – разговор у нас не служебный, а совершенно приватный, мы говорим как друзья, как интеллигентные люди, вы согласны? Вы должны меня понять, тем более что вы, так сказать, наиболее кадровый из всего нашего состава. Вы не Варварушкина, и вы знаете, что такое служба...

Левин смотрел на Шеремета с жадностью и ждал. Он совершенно не робел более этого выбритого и напудренного лица, подпертого жестким, вылезающим из-под кителя крахмальным воротничком, не робел толстых приспущенных век, не робел властных жестов, крупных золотых зубов, сдерживаемого, рокошущего, начальнического голоса.

– Вчерашнего дня, в субботу, – говорил Шеремет, как всегда немного манерничая, – вспомнил я, что многие из начальства вашего гарнизона моются именно по субботам. Естественно, что мне пришла в голову мысль проверить, как ваш санврач реагирует на субботу. А санврача нынче, как известно, нет, заменяет его ваша почтеннейшая Варварушкина. Так что наш с вами разговор идет именно о ней. Ну-с, прошу слушать: в бане пожилой старшина на мой вопрос, как они готовятся к приему начальства, довольно развязно мне отвечает, что никаких особых приготовлений у них нет, что санврач нынче заходил, но никаких – заметьте, никаких – приказаний не отдавал, кроме как помыть все, поскрести и парку поднагнуть. Что же касается до моего приказания, то Варварушкина не только ничего сама не сделала, но даже не довела о нем до сведения начальника госпиталя. А мне со слезами ответила, что отказывается выполнять мои распоряжения.

– Какие именно ваши распоряжения? – спросил Александр Маркович.

– Она вам не докладывала?

– Нет, не докладывала.

– Еще один характерный штрих для ее поведения. Я распорядился получить из вашего госпиталя выбракованные одеяла и постелить ими лавки и полы в предбаннике. Я распорядился выстелить лавки поверх одеял простынями. Я распорядился также силами госпитального персонала заготовить веничков, сварить квасу из хлебных крошек и корок и поставить этот квас на льду в предбаннике. Ведь просто? Начальство наше очень устает, у него ответственность огромная, значит надо нам о начальстве подумать, проявить заботу, да и нам это вовсе не во вред, потому что они непременно спросят – кто это о них так позаботился, а банщик и ответит: "Санчасть, товарищ командующий!" Вникаете? Таким образом, они нас приметят, вспомнят добрым словом, и мы с вами...

– А если худым словом? – спросил Левин, глядя прямо в глаза Шеремету. – Если спросят, кто эти паршивые подхалимы, холуи, подлизы, – тогда как? И если им ответят, что эти подхалимы и холуи – военврачи? Сладко нам будет? А характер командующего мне немножко известен, спросить он может. Нет, товарищ полковник, уж вы извините, но я совершенно одобряю Варварушкину и во всем согласен с нею. Жалко только, что она

плакала. Да ничего не поделаешь – слабый пол, случается, плачет от злости...

– Но ваша Варварушкина не выполнила приказания.

Александр Маркович пожевал губами, подумал, потом произнес:

– Вряд ли, товарищ полковник, она могла понять ваши слова как приказание. Она поняла ваши слова как приватную беседу, так я склонен думать. Она у меня товарищ дисциплинированный.

Лоб Шеремета покрылся испариной, но ответа не последовало.

– Так ведь? – спросил Александр Маркович. – Впрочем, все это мелочи. Давайте теперь о деле потолкуем. Когда мы назначим испытание костюму? В следующее воскресенье?

– Думаю, что об этом рано говорить, – едва скрывая досаду, ответил Шеремет. – Ведь у вас, голубчик, язва, ужели вы сами прободения не боитесь?

– А если боюсь, так что? – спросил в ответ Левин. – Это война научила меня тому, что, боюсь я или не боюсь, – побеждать я во всяком случае обязан. Все те, кого мы лечим, – люди, а человеку свойственно не любить, мягко выражаясь, когда в него стреляют. И тем не менее...

Шеремет вдруг вскипел.

– Тем не менее, – сдерживая свой голос, чтобы не услышали другие в палате, сказал он, – тем не менее ужасно вы любите рассуждать в ваши годы. Все кругом рассуждают. Начальник госпиталя рассуждает, товарищ Дорош рассуждает, скоро санитарки рассуждать начнут.

– Они уже давно рассуждают, – вставил Левин, нарочно поддразнивая Шеремета.

– Все рассуждают, – почти крикнул Шеремет, – все непрерывно рассуждают, и никому в голову не приходит, что раз никто еще не изобрел этого костюма, то и нам его не изобрести. Блеф это все, понимаете? Блеф! Доктор, видите ли, Левин и инженер, видите ли, Курочка сконструировали костюм. Но этого им мало. Они требуют еще санитарного самолета. Спасательный самолет им понадобился. А я вам на это отвечаю: начальство само знает, каким способом обеспечивать эвакуацию раненых, и мы с вами не для того сюда поставлены, чтобы учить снизу наше начальство, находящееся неизмеримо высоко. У нас участок небольшой, и мы должны с ним справиться, а не летать на разных самолетах и не жить в мире фантазии. По вашему лицу я вижу, что вы будете писать рапорт насчет самолета и костюма, и говорю вам – пишите, ваше дело, но я вам во всех этих историях не помощник. Прикажут – пожалуйста, а не прикажут – не буду. Вот так и договоримся. Договорились? Или вам мало мороки с вашим отделением?

И он выразил всем своим лицом и даже плечами расположение к Левину, а рукою дотронулся до его острого колена, выпирающего из-под одеяла, и несколько раз погладил ему ногу. Левин же молчал и смотрел на Шеремета так, как будто видел его в первый раз и как будто тот очень ему не понравился.

– Ну-с, а засим позвольте пожелать вам всего наилучшего! – сказал Шеремет и пожал Левину руку. – Поправляйтесь, а как только станете транспортабельным, мы вас отправим в Москву, и там вам вашу язвочку чирик!

Он засмеялся, как будто сказал что-то очень смешное и остроумное, поправил на своем плече халат и, продолжая улыбаться, пошел к двери. Александр же Маркович смотрел ему вслед, и глаза его выражали недоумение. Потом он повернулся на бок, повздыхал и уснул, будто провалился в небытие.

9

– Когда идет и на ходу отмахивается, а лицо такое, будто пообедал, – значит, злой, – сказала Лора. – Вот вы, девушки, его мало знаете, а я его давно знаю.

– Попрошу про начальника ваши глупые мысли не выражать, – рассердилась Анжелика. – Никому не интересно.

– Хочу – выражаю, не хочу – не выражаю, я – вольнонаемная! – огрызнулась Лора. – И

вообще, Анжелика Августовна, слишком вы меня пилите. Пилите и пилите, как все равно пила.

Вера, зевая, перелистывала книжку, доктор Варварушкина за барьером писала в большом журнале. На стене захрипели часы, но бить не стали. Анжелика ушла. Лора села на одну табуретку с Верой, заглянула в книгу и спросила, интересная ли. Но тут же сама ответила: "Ой, про выстрелы, неинтересная". И, заразившись от Веры, длинно зевнула. Часы опять захрипели.

– Что это с ними? – спросила Вера. – Раньше били так музыкально, а теперь только хрипят.

– Старенькие, – сказала Лора. – Вот Александр Маркович все бегал-бегал, оперировал-оперировал, а теперь заболел. Возраст ему вышел.

– Глупости вы болтаете, – сказала из-за барьера Варварушкина. – Александр Маркович еще не стар, он просто болен. Это и с молодым может случиться.

Она захлопнула свой журнал и вышла из-за перегородки, снимая на ходу белую накрахмаленную шапочку. Одна длинная коса медленно упала на плечо, а потом вдруг ровно легла вдоль спины. И от этого доктор Варварушкина стала похожа на девочку.

– Красивенькая вы, Ольга Ивановна! – сказала Лора. – Мне бы вашу красоту, я бы всю авиацию с ума свела. А вы ходите в шинельке, косы ваши никто не видит, и даже носик никогда не попудрите...

Варварушкина улыбнулась и так и осталась стоять возле барьера с тихой улыбкой на бледном миловидном лице. И синие ее глаза тоже улыбались.

– Глазки у вас синие, – мягко и ласково говорила Лора, – волосики пушистые, косы длинные, сама вы такая скромненькая. Неужели у вас и симпатии никакой нету, Ольга Ивановна? Только наука одна – и больше ничего? Может, кто и есть? Отчего вы с нами не поделитесь? Давайте делиться, девушки, а? У кого какая симпатия, у кого какие мысли, у кого какая грусть? Ольга Ивановна, давайте делиться?

Делились долго, но Ольга Ивановна молчала и даже, казалось, не очень слушала, а только улыбалась своей тихой улыбкой. Потом позвонила третья палата, за третьей шестая, – и пошло. Раненые просыпались после обеденного сна. Варварушкина вновь села писать в журнал, но писала недолго, вдруг задумалась и сказала Анжелике, когда та пришла с двумя кружками чаю:

– Знаете что, Анжелика Августовна? У него не язва. Я перед войной работала в онкологическом институте, немного, но работала, и, кажется, научилась видеть в лицах начало. самое начало.

У Анжелики округлились глаза, она испуганно заморгала, потом воскликнула:

– Нет, нет, я не хочу и слышать об этом. Не хочу слышать! Не надо мне говорить...

Варварушкина молчала. Тени от густых и длинных ресниц падали на ее щеки.

– Тогда тем более надо оперироваться, – воскликнула Анжелика. – И не откладывая...

Вернулись Вера с Лорой, и пришлось говорить тише. А Лора нарочно говорила громко, так, чтобы Анжелика слышала.

– Я вольнонаемная, и мне никакого интереса нет от вашей Анжелики грубости слышать. Она меня все хочет с кашей скушать, потому что я ее не устраиваю из-за принципиальности. Она думает, что я не понимаю сама, как мы должны работать для раненых. Я сама все понимаю и любую работу делаю, но кричать никому не позволю, даже если это полковник будет. И я так считаю, не знаю, конечно, как ты, Верунчик, на это посмотришь, но, по-моему, чем человек культурнее, тем он вежливее. Вот, например, Александр Маркович...

– Ну и что же, и очень даже кричит наш Александр Маркович, – ответила Вера. – Еще слово забудет, какое ему надо, и кричит: "Дайте это". А я откуда знаю, какое «это». В прошлом году, когда я на дежурство опоздала, а потом стерилизатор перевернула, так он мне кричал, что под трибунал подведет и что он не обязан работать с шизофреничками. Думаешь, весело? А по-моему, так ничего особенного. Конечно, некоторые не от сердца кричат, так это

обидно, а когда человек по работе кричит, так это даже не он, а его сердце закипело, вот он и закричал.

– Что же, у Анжелики тоже сердце кипит, да? – спросила Лора. – Ничего у нее не кипит, просто вредность такая, чтобы другому человеку неприятность сделать.

Она оглянулась и замолчала на полуслове: Анжелика сидела и плакала. Толстые плечи ее дрожали, лицо она закрыла ладонями.

Вера рассердилась.

– Ну, и что хорошего? – спросила она шепотом. – Довела человека, теперь можешь радоваться. Тактичности не хватает у тебя, Лора, вот что. Пилит. потому что за дело. Нас не пили, так весь госпиталь взорвется, что ты не понимаешь?

– Так ведь я... – начала было Лора.

– Я, я, я... последняя буква в алфавите. Я! Вот разволновала человека до того, что он плачет. Теперь как она будет переживать! А у нее ожирение сердца, ей это вредно.

Минут через двадцать Лора с красными пятнами на щеках догнала Анжелику возле бельевой и быстро ей сказала:

– Простите меня, пожалуйста, Анжелика Августовна, за мое хамство. У меня характер очень плохой. Меня мамаша в свое время даже скалкой колотила за грубости, да, видать, не доколотила до добра. Извините, что я про пилу говорила и что вы слишком принципиальная, а я вольнонаемная...

На добрых глазах Лоры выступили слезы, верхняя губа ее задрожала, голос сорвался, и она, всхлипнув, припала к плечу Анжелики. А Анжелика гладила ее по спине и говорила:

– Ничего, девочка, все бывает. Сейчас война, и много нервных.

Когда он проснулся, язва уже несколько не болела и хотелось чаю, а настроение было хорошее и приподнятое, как будто он качался на качелях и гикал при этом, как бывало когда-то давно, еще в студенческие годы.

Сосед по палате – старший лейтенант со съедобной фамилией Ватрушкин – пришел из коридора и сказал с грустью в голосе:

– Везде свои несчастья. Возле лестницы Анжелика вашу санитарку Лору утешает. Та – разливается, плачет. Убили, наверное, кого-нибудь из близких.

– Никого не убили, – сказал Левин. – Вы этих девушек не знаете. У меня от них иногда вот так распухает голова. Ссорятся – плачут, мирятся – плачут, очень легко сойти с ума.

Попив чаю, он спустил ноги с койки, прислушался, не болит ли, и, убедившись, что не болит, надел халат. Ватрушкин с любопытством на него смотрел.

– Сейчас мы вас посмотрим, – сказал Александр Маркович, – сейчас мы вас посмотрим и убедимся кое в чем. Мы вас не смотрели сегодня утром, а вас следует смотреть каждый день.

Улыбаясь, он прошел в другой конец палаты и сел на койку к Ватрушкину, Посмотрел ему язык и сказал: «хорошо», потрогал живот и тоже сказал: «хорошо», согнул ему раненую ногу в колене и сказал: «прекрасно». Потом заключил:

– Ну, Ватрушкин! Мы поправляемся! Мы поедим к маме с папой на месяц, а потом вернемся в строй. Идет, старина? Или, может быть, мы уже женаты?

– Женаты, – вдруг покраснев, сказал Ватрушкин.

– А на ком мы женаты?

– На Вале, – ответил Ватрушкин, – то есть вернее будет сказать – на Валентине Семеновне.

– Замечательно. Красивая девушка?

– Вопрос! – весь заливаясь краской, ответил Ватрушкин. – Но дело не в красоте, товарищ подполковник. Она у меня инженер. Кое-что работает для нашего вооружения. На особо секретной должности.

– К ней поедете?

– К ней, – сказал Ватрушкин. – Теперь можно съездить. Четыре правительственных награды – шесть самолетов личных и один групповой. Но, если по правде, так он тоже на

моем личном счету должен быть, это я сам тогда не разобрался и сказал, чтобы за Никишиным записали. Вы Никишина знаете?

И он стал рассказывать про Никишина, а Александр Маркович смотрел на него и думал о том, что этот Ватрушкин может быть записан на его личный, левинский, счет, и веселое чувство победителя наполнило все его существо. От этого нахлынувшего на него чувства он даже зажмурился, а потом широко открыл глаза и увидел перед собой юное лицо с вздернутым носом, со сбившимися от подушки льняными волосами и с таким чистым и серьезным взг лядом, что Левину опять захотелось за жмуриться.

– Никишин ему в хвост зашел, а он не дался, – говорил Ватрушкин и руками, как все летчики, показывал, кто кому куда зашел, а Александр Маркович не понимал и не слушал, а все-таки ему было интересно и весело.

– И сбил? – спросил Левин.

– Ну конечно же, я об этом и говорю, – сказал Ватрушкин. – А вы разве не поняли, товарищ подполковник?

Перед ужином Левин крадучись вышел из своей палаты. У него было желание застать какой-либо беспорядок, потому что не могло же так случиться, чтобы он выбыл из строя, а в отделении все шло попрежнему гладко и спокойно. Но, действительно, к некоторому его сожалению, все было в полном и нерушимом порядке. Он расстроился на несколько мгновений, но тут же понял, что этот порядок, раз навсегда им заведенный, конечно ничем не мог быть нарушен, даже его смертью. И от этого было, как часто бывает в жизни, и грустно и хорошо в одно и то же время.

Дорогая подруга Наталия Федоровна!

Очень был рад получить Ваше письмо насчет товарища Белых. Я несколько и не сомневался, что он придется Вам по душе. А насчет его мужественного поведения, то он, видимо, теперь взял себя в ежовые рукавицы. Короче говоря – золотой человек. И дальше – пусть за ним присматривают. У меня большие надежды на лечебную гимнастику и на железную волю нашего доктора. Ежели его подправят по-настоящему, то недалек тот день, когда мы с Вами будем гордиться, что знали товарища Белых в период Отечественной войны.

емного о себе: моя многоуважаемая язва все-таки дала о себе знать, и теперь я лежу в своем же отделении своего же госпиталя. Могу заявить Вам без всякого хвастовства, что мое отделение совсем недурно организовано. Теперь я в этом убеждаюсь, находясь в палате номер шесть вверенного мне отделения. Гляжу снизу, а не сверху. И знаете, что читаю? «Палату номер шесть» – А. П. Чехова. Собственно, еще не читаю, а только собираюсь.

Извещаю Вас также о том, что моя отличная комната в Ленинграде перестала существовать по причине попадания в нее снаряда. Немецкий снаряд. Кстати, там было много отличных книг на немецком языке по вопросам хирургии. Как это дико, глупо и бессмысленно!

Ваш А. Левин

10

Через два дня Шеремет прислал бумагу, в которой было написано крутым шереметовским слогом с подчеркиваниями и разрядками решений насчет поездки подполковника Левина А. М. в г. Москву на предмет операции и последующего лечения. Бумага была полуофициальная, но с нажимом на тот предмет, что подполковнику Левину ехать надо непременно. К первой бумаге была приложена и подколота скрепкой другая – личное письмо Шеремета к знаменитому хирургу в не менее знаменитую клинику. В этой второй бумаге Шеремет тепло рекомендовал Левина и просил оказать ему всяческое содействие и наивозможнейшую помощь, "так как, – было там написано, – подполковник Левин является совершенно незаменимым работником, даже временная болезнь которого

тяжело отразится на состоянии вверенного ему 2-го хирургического отделения вышеуказанного госпиталя".

Александр Маркович, шевеля губами, прочитал обе бумаги, сопроводилку и, несколько погодя, надпись на конверте, подумал и попросил позвать к себе майора Дороша. Дорош пришел тотчас же, пощелкивая протезом и сердито хмурия брови.

– Присаживайтесь, Александр Григорьевич, – пригласил Левин.

Дорош сел и согнул обеими руками свой протез.

– Читали? – спросил подполковник.

– Да, знаю! – сказал Дорош. – Надо ехать, ничего не поделаешь.

Густые брови его низко нависли над сердитыми глазами. Он смотрел в сторону. Ему-то уж было хорошо известно, что значило остаться без Левина.

– Я никуда не собираюсь ехать и не поеду, – сказал Левин, – а главное, как легко догадаться, у меня нет никакого желания сдавать отделение майору Баркану, дай ему бог хорошего здоровья. Так что, товарищ Дорош Александр Григорьевич, я остаюсь. Кстати, язва не такая уже неприятность, чтобы из-за нее все бросать и кидаться очертя голову от своего прямого дела и от своих обязанностей...

Дорош молчал.

– И в конце концов, – продолжал Александр Маркович, – мы не дети. Вы отлично понимаете, что Баркан вряд ли справится с нашим отделением. А если еще ко всему прочему начнутся бои и большое наступление, тогда как? Вы помните поток прошлым летом? Александр Григорьевич, я говорю вам как врач – мне можно и нужно остаться. Я буду сидеть на диете, я буду смотреть за собою, ну, а на крайний случай у нас есть кое-кто из настоящих хирургов на главной базе. Вы меня понимаете? Так что у меня к вам только одна просьба: побеседуйте с начальником, пусть он доведет до сведения Шеремета, чтобы меня больше не дергали такими бумагами. Но это, разумеется, в том случае, если я действительно не преувеличиваю собственную ценность для госпиталя. Вот эти письма и конверт, возьмите, пожалуйста.

Дорош взял бумаги и положил в карман кителя. В груди его сильно шумело и фыркало, будто там работали кузнечные мехи.

– Ну, а самочувствие сейчас получше? – спросил он.

– Самочувствие нормальное, завтра встану.

– А может, не надо? Может, перемучаетесь, полежите?

– Завтра оперировать будут кое-кого, посмотреть надо. Нынче ведь война, Александр Григорьевич.

– Это да, это несомненно, – сказал Дорош, и вдруг чему-то улыбнулся.

Потом они еще немного поговорили о спасательном костюме и о спасательном самолете.

– Командующий вчера интересовался, – сказал Дорош, – по телефону звонил, а сегодня я у него с докладом был. Приказал, чтобы вы к нему явились в девять тридцать. Ну, я, конечно, объяснил, что подполковник Левин выбыл из строя надолго.

– И что он на это? – как бы даже небрежно спросил Александр Маркович.

– Приказал вызвать из главной базы хирургов – флагманского хирурга Харламова и еще второго, забыл его фамилию. И начальнику позвонил, чтобы условия обеспечили и немедленную эвакуацию, если понадобится. Так что Шеремет не сам письмо отправил. Но не учел, что командующий сказал: эвакуацию согласно его желанию.

Левин молчал. На морщинистой его коже выступили красные пятна, глаза под стеклами очков сердито блестели. Дорош посидел еще немного, пересказал подробно весь разговор с командующим – фразу за фразой, потом поболтал с Ватрушкиным и ушел. Почти сейчас же появился флагманский хирург Харламов с начальником госпиталя и целой свитой врачей. Сам Алексей Алексеевич шел несколько впереди, и только оттого, что он шел впереди, можно было догадаться, что он тут наибольший и самый главный, потому что во внешности его не было решительно ничего такого, что соответствовало бы представлению о

выдающемся, крупном, даже знаменитом хирурге. Не было у Харламова ни роста, ни значительности в выражении лица, ни барствениности, ни властности, ни раскатистого голоса, а был он, что называется, "неказистый мужичонка", с лицом, слегка вытянутым вперед, с жидкими белесыми усишками, с какой-то растительностью по щекам, с незначительным голоском, и только один взгляд его необычайно твердых, маленьких светлых глаз – всегда прямой и серьезный – выказывал незаурядность этого ординарнейшего с виду человека.

Подойдя к Левину, Харламов слегка согрел руки, потирая их друг о друга, кивнул головою несколько набок, присел на край стула и вдруг улыбнулся такой прекрасной, такой светлой и дарящей улыбкой, что все кругом тоже заулыбались и задвигались, потому что, когда он улыбался, нельзя было не улыбнуться ему в ответ.

– Эка за мной народу-то, – сказал Харламов, оглядывая невзначай свою свиту, – эка набралось, словно и вправду архиерейский выход. Идите-ка, идите-ка, товарищи, занимайтесь своим делом, идите, никого нам с Александром Марковичем не нужно. Идите, идите...

И вновь стал греть руки, потирая их и дыша в ладони, сложенные лодочкой. Глаза же его опять приняли серьезное выражение и с неожиданной даже цепкостью как бы впились в сконфуженно улыбающегося Александра Марковича.

Молча Харламов проглядел анализы и рентгенограммы, подумал и, вытянув губы трубочкой, отчего лицо его сделалось прилежным, стал сильными, гибкими и тонкими пальцами шупать впалый живот Левина. Щупал он долго, заставляя Александра Марковича то дышать, то не дышать, то поворачиваться этак, то так, а сам при этом будто бы к чему-то прислушивался, но к чему-то такому далекому и трудно уловимому, что едва слышал только мгновениями. А когда слышал, то лицо его вдруг переставало быть прилежным и напряженным, в глазах мелькал на секунду азарт и тотчас же погасал, уступая место напряженному и трудному вслушиванию.

Потом прикрыл Левина одеялом, встал и вышел, а когда возвратился, то лицо у него было спокойно-деловитое и веселое.

– Так вот, коллега, – сказал он негромко и опять сел на край стула, – можно, конечно, оперироваться, а можно и погодить. Режимчик, разумеется, нужен, следить очень нужно и в случае малейшего ухудшения...

Он пристально поглядел на Александра Марковича и помолчал.

– Да, вот так, – сказал он, думая о чем-то своем и продолжая разглядывать Левина, – вот так. В прятки мы друг с другом играть не будем – правда, ведь не стоит? – ну, а покуда, я предполагаю, можно погодить и спеха никакого особого нет. Хорошо бы вам еще Тимохину показаться, он у нас насчет всех этих язвочек – голова, вам непременно ему показаться нужно.

И Харламов опять задумался, приговаривая порою: "Да, вот так, вот так."

Потом встал и, слегка сгорбившись, вышел, кивнув на прощанье головою.

"Но Тимохин-то в основном онколог", – глядя в спину уходящему Харламову, подумал было Левин и тотчас же отогнал от себя эту мысль. "Просто страховка, – решил он, – я бы тоже так поступил. И кислотность явно язвенная, вздор все, пустяки".

В коридоре басом смеялся начальник госпиталя и что-то громко, играя голосом, говорил Баркан, – там провожали флагманского хирурга. И по тому, какими веселыми были врачи и как никто не шептался, он еще раз понял, что у него самая обыкновенная, вульгарная язва, с которой живут много лет и которая при нормальном режиме ничем серьезным не угрожает.

Через час он поднялся, надел поверх фланелевого госпитального халата свой докторский, взял в руку палку и пошел на обход. Лицо его было спокойным и даже веселым. Ольга Ивановна шла на шаг за ним, тоже успокоенная, довольная. Раненые в палатах,

завидев Левина, приподнимали головы с подушек. Он шлепал туфлями, присаживался на кровать и говорил громко, заглядывая при этом в лица:

– Ну, что? Есть еще порох в пороховницах? Кто не съел эту прекрасную рисовую кашу с великолепным свежим молоком? Кто это жжет свою свечу с обоих концов? Это вы, старый воздушный бродяга? Посмотрите на него, друзья, он притворяется, что спит, до того ему стыдно смотреть нам всем в глаза. Ну хорошо, не будем его будить. Сделаем вид, что верим. А вы кто такой? Летчик, да? Варварушкина, он новенький? Да, да, вы мне говорили. Ну и что? Ничего особенного! Товарищи раненые, вы знаете, кто он такой – этот лейтенантик? Он по скромности вам не сказал. Он тот самый, что сбил «Арадо», – помните, было в газете? Интересная история. Вы мне потом расскажете подробно, Женя, да? Вас ведь зовут Женя, год рождения двадцатый? Ну, конечно, мы постараемся так сделать, чтобы у вас работали обе руки, я же понимаю, как же иначе. Что вы читаете, капитан?

Так он ходил из палаты в палату, отдыхая в коридоре, и только Анжелика с Варварушкиной знали, что не все раненые такие здоровяки, как говорит им Левин, и что не у всех будут работать обе руки и обе ноги, и что медицина не такая уж всесильная наука. Они знали это все и не улыбались. Да, впрочем, и сам Александр Маркович улыбался только в палатах. В коридоре же и в ординаторской он был настроен брюзгливо и ворчал.

В двенадцать часов в госпитале все совсем стихло. Левин спустился в свою косую комнату, где все было убрано и вытерто, пришел к кителю чистый подворотничок и побрился перед зеркальцем. Из-под бритой рыжей щетины выступило обглоданное, с обвисшей кожей лицо старика. Но Левин не обратил на это лицо никакого внимания. Он его напудрил тальком, затем гребенкой расчесал жидкие волосы. Потом замшей протер очки, надел новую шинель, посадил на голову фуражку чертом, как носили летчики, взял палку и поднялся наверх, не торопясь, чтобы не задохнуться. Вахтенный матрос с повязкой на рукаве сказал ему «слово». Путь был свободен, его никто не задержал, Анжелика, по обыкновению, торчала у аптекаря.

Ночь была тихая, звездная, чуть с морозцем. Над заливом негусто, с переливами, гудели, то скрываясь за сопками, то снова появляясь, барражирующие истребители. И Левин подумал, что уже очень давно не объявлялись в гарнизоне тревоги и что воздушная война теперь идет там, за линией фронта, на территории противника.

Опираясь на госпитальную белую палку, он дошел до командного пункта и удивился безлюдью вокруг скалы, около которой раньше всегда стояло несколько машин и внушительно прохаживался матрос с автоматом на шее. Теперь не было ни матроса, ни машин, а тропинку, которая раньше вела в скалу, вовсе замело снегом.

"Переехали, – подумал Левин, – вот оно что. Давно переехали. И правильно, что переехали, это значит, война перевалила через хребет, война идет к победе, времена изменились, теперь мы господствуем в воздухе, и пусть они уходят под землю, а нам уже пришло время дышать и смотреть в настоящие окна".

И он опять отправился в дальний путь, к серому зданию командного пункта. Штаб теперь ушел из скалы, и приемная командующего была в большой комнате с высокими потолками и окнами, в которые вставили стекла и только завешивали черными шторами.

Дальний переход утомил его, и он даже немножко опьянел от воздуха, но сердце работало ровно, и когда он сел на диван в приемной, то никакой дурноты не сделалось и более тоже не было.

– Вы к генералу? – спросил адъютант в очень коротком кителе.

Александр Маркович наклонил голову.

– Вам назначено?

– Мне не назначено, – сказал Александр Маркович, – но я рассчитываю быть принятым. Доложите, когда придет моя очередь, – подполковник медицинской службы Левин.

Адъютант слегка пожал плечами. Он был не лучше и не хуже других адъютантов, но очень боялся своего генерала и потому никогда еще никому не нагрубил; он только слегка

пожимал плечами или несколько оттопыривал нижнюю губу, или просто углублялся в почту.

– Я извиняюсь, – сказал адъютант, когда прошло полчаса, – вам по какому делу, товарищ подполковник, как доложить?

– По моему личному делу, – медленно, как бы раздумывая, ответил Левин.

– Тогда придется подождать, – предупредил адъютант и уткнулся в почту, читая от скуки задом наперед адреса.

Теперь в приемной никого не оставалось, кроме Левина. Последним прошел интендант Недоброво. Он был у командующего долго, а когда выскочил, то несколько секунд неподвижно простоял в приемной, глядя на Левина выпученными глазами.

– Что, попало? – спросил Александр Маркович.

– Интенданты всегда во всем виноваты, – ответил Недоброво, – ваше счастье, что вы не интендант.

– Вы, наверное, действительно виноваты, – вдруг рассердившись, сказал Левин. – Мы еще с вами как-нибудь поговорим на досуге.

Он было начал переругиваться с интендантом насчет каких-то недоданных госпиталю вещей, но от командующего вышел адъютант и совсем другим голосом, чем раньше – даже с каким-то придыханием, – объявил, что генерал ждет. Но Левин еще не доругался с Недоброво, они встречались редко, и сейчас он должен был ему объяснить, что такое госпиталь и как надо относиться к госпитальным нуждам.

– Товарищ подполковник, я вас очень прошу, – сказал адъютант и подергал Левина за локоть.

Александр Маркович обернулся: адъютант был теперь другим человеком: на щеках у него горели красные пятна, аккуратные и круглые, как пяточки, глаза более не выражали скуки, и шаг сделался торопливым, сбивающимся. "Попало, наверное, за меня!" – подумал Левин и на прощанье сказал интенданту:

– Еще подождите, еще вас и в звании снизят. Дождетесь!

В большом и высоком кабинете с коричневой панелью по стенам командующий казался еще меньше ростом, чем на прежнем командном пункте "в скале". Волосы его в последнее время совсем поседели, а лицо немного обрюзгло, но глаза смотрели по-прежнему подкупающе прямо, с той твердой и юношеской искренностью, которую многие летчики сохраняют до глубокой старости.

Увидев Левина, он поднялся и пошел к нему навстречу, делая рукою жест, который означал, что доклады ватся не надо, потому что все равно Левин спутается и все кончится, как всегда, добродушно-сконфуженной улыбкой и беспомощным извинением. Но Александр Маркович на этот раз несколько не запутался и договорил все до конца, подготовив себя мысленно к тому, чтобы ни в коем случае не казаться генералу жалким и достойным снисхождения по болезни.

– Однако вы выглядите не слишком важно, – сказал командующий, когда они сели, – но, с другой стороны, не так чтобы уж очень. Мне доктор Харламов звонил, говорил – язва, и режим, дескать, вам требуется. Ну, слушаю вас, докладывайте. Да нет, сидите же, сидите, эх в вас военная косточка разыгралась...

И, мгновенно улыбнувшись, он тотчас же, едва Левин начал говорить, сделал совершенно серьезное лицо. Но вдруг перебил:

– Особо хотим вас поблагодарить за лейтенанта Ватрушкина. Мне сообщили, что его выздоровление – целиком ваше дело. Продолжайте, пожалуйста.

И стал ходить по кабинету, покуда Александр Маркович говорил.

– Значит, не считаете необходимым ехать? – спросил он, когда ему показалось, что подполковник кончил докладывать. – Но советую подумать. Вот давеча не поехали, а болезнь ваша себя и показала. Да и для общего самочувствия хорошо – Москва, знакомые, в театр бы сходили, ну и семью бы навестили...

Левин слегка было приподнял голову, чтобы сказать, что у него никакой семьи нет, но промолчал, так как это могло показаться бьющим на жалость.

– Так, – заключил командующий, – ясно. Теперь второй вопрос: что слышно насчет вашего костюма?

Левин протирал очки платком. Он ждал этого вопроса, но ответил не сразу.

– Недовольны? – спросил командующий.

– Нет, в общем костюм приличный, – сказал Александр Маркович. – С моей точки зрения, в нем все хорошо, но вот Федор Тимофеевич...

– Это кто же Федор Тимофеевич?

– А Курочка Федор Тимофеевич...

– Так-так. Ну и что же Федор Тимофеевич?

– Ему чем-то костюм не нравится. Он еще не может сформулировать свои требования, но я ясно вижу, что он костюмом недоволен...

Командующий усмехнулся.

– Может сформулировать, – сказал он, – отлично может. Не формулирует, потому что вас жалеет. Перед отъездом, когда он у меня был, мы тут с начальником штаба задали ему один вопрос, – расстроили его. Да что же поделаешь – пришлось. Он нам тогда и сказал: "Я, дескать, инженер-майор Курочка, перенесу, а вот подполковник Левин, тот очень переживать будет".

Александр Маркович молчал.

– Да вы не расстраивайтесь, костюм ваш вещь хорошая, полезная, только вот скажите мне, что произойдет со мною, например, если я из самолета выброшусь раненым и упаду лицом вниз? А? Без сознания и лицом вниз, в воду? Ну-ка?

Левин хотел ответить, но не нашелся, и только поморгал. Он действительно расстроился.

– Ведь и в тарелке с водой можно захлебнуться, – сказал командующий. – Что наука говорит? Наука говорит, что и в луже утонуть можно, если человек не в силах себя заставить подняться. Так?

– Так, – грустно согласился Левин.

– Вот видите, и вы говорите – так, – кивнул командующий, – а если так, значит эту часть надобно тоже продумать серьезно, «провентилировать», как выражается наш начальник штаба.

Александр Маркович подавленно молчал.

– Впрочем, это не значит, что костюм плох, – продолжал командующий, – это только значит, что он не закончен. Надо работу над ним продолжать, но с учетом этого неперемennого требования. Согласны?

– Так ведь это еще нужно изобрести, – сказал Левин, – а я без Курочки ничего не могу делать. Я не изобретаю, изобретает он, я только помогаю ему, так сказать, в специальной области. Не знаю, как теперь быть. Испытания мы назначили с Шереметом.

Командующий коротко и невесело улыбнулся.

– Это, конечно, большое дело, – сказал он. – Сам Шеремет прибыл, огромное событие. – Помолчал и добавил: – Испытания вы проводите, ясно? И проводите с полной строгостью и требовательностью, оставив в стороне один только вопрос. Вопрос этот Курочка добьет до конца, мы его хорошо знаем. Все ясно?

– Все, – повеселев, ответил Левин.

– Перехожу к третьему вопросу, – сказал командующий, – он находится в некоторой связи со вторым. Что за птица Шеремет? Только попрошу вас, товарищ подполковник, отвечая мне, помнить, что каждый человек, занимающий нынче должность, не соответствующую его рабочим качествам, не просто бесполезен, хуже – вреден. С этой точки зрения давайте и будем оценивать нашего Шеремета. Отметим, знаете ли, цеховщину, либерализм, даже дружеские отношения, – вы с ним, кажется, приятели? Он мне это давал понять...

Левин внимательно посмотрел на командующего и ответил, не торопясь и подыскивая наиболее точные слова:

– Ну... приятели мы относительные... Что же касается до работы – то работать с ним, с Шереметом, и трудно и неинтересно. Так думаю не я один, так думают очень многие. Впрочем, он имеет и свои несомненные достоинства, которые невозможно отрицать.

– Какие? – с интересом спросил командующий.

– Он энергичен... напорист... умеет добиваться того, что ему нужно...

– Ему или нам? Учтите – это разница.

Александр Маркович подумал и согласился, что это, действительно, разница. Но достоинства у Шеремета, несомненно, имеются.

– В числе этих достоинств, например, хамское отношение к таким работникам, как Варварушкина? – неприязненно спросил командующий. – Так? Это ведь на нее он топал ногами, выясняя историю с баней. Впрочем, это вы лучше знаете...

– Знать-то знаю, – ответил Левин, – но, видимо, есть и у нас начальники, которым нравится, когда им специально подготавливают баню. Шеремет не дурак и знает, на кого работает.

Вот в чем загвоздка. Да что баня, товарищ командующий. Баня – пустячок, но символический.

Я с Шереметом на эту тему имел беседу, как вам, впрочем, известно. Есть вещи похуже...

– Есть! – сдвинув брови и поигрывая карандашом, произнес командующий. – Есть, товарищ доктор, и мы с ними боремся. Только не так это просто. Но сейчас мы с вами говорим о потатчике всей этой холуйской мерзости – о Шеремете. Так вот, что нам с ним персонально делать?

– А – выгнать! – кротко улыбаясь, ответил Левин. – Выгнать, и дело с концом. Я бы выгнал. Впрочем, может быть, это слишком сильно сказано. На аптечных склянках делают наклейки: "Перед употреблением взбалтывать". Если Шеремета взболтнуть, то есть взболтать.

Командующий курил, слегка отворотясь. И опять Александр Маркович заметил, как обрюзг и постарел генерал и какая печать усталости лежит на всем его облике – и на выражении лица, и на опущенных плечах, и на повисшей вдоль тела руке.

– Незачем взбалтывать, – сказал он сухо, – человек на пятом десятке должен сам понимать что к чему. Впрочем, мы разберемся. А сейчас приглашаю вас в салон ужинать, там займемся прочими нашими делами.

Своей твердой, чеканной походкой он пошел вперед, что-то коротко, почти одним словом приказал вскочившему адъютанту и с маху отворил дверь в салон, по которому размеренным шагом, негромко насвистывая, прогуливался генерал Петров – высокий, в чеплашке и серых замшевых перчатках, которые он, так же как и чеплашку, никогда не снимал, потому что был тяжело изувечен и не считал возможным, как он выражался, "портить аппетит здоровым людям".

И лицо его тоже было изуродовано так, что никто теперь не верил, будто нынешний заместитель командующего по политчасти генерал Петров был когда-то замечательно красивым летчиком. Сохранились на лице Петрова только прежние глаза, такие веселые, всегда такие полные дружелюбно-иронического блеска, что люди, которые впервые его видели, не сразу замечали и рубцы, и шрамы, и бурую кожу – все то, что много лет тому назад наделало пламя в кабине истребителя над Гвадалахарой. Впрочем, про Гвадалахару знали очень немногие: Петров, посмеиваясь, объяснял, что у него взорвался примус и испортил ему всю красоту.

– А говорили, что вы при смерти, – сказал он, пожимая руку Левину, – вовсе не при смерти, только похудели немного. Ничего, отвоюемся – поедете в Сочи. Вы ведь любите Сочи, часто туда раньше ездили?

И он раскатисто засмеялся, откинувшись на стуле и трясая головой. Все в ВВС помнили, как Александр Маркович ездил в Сочи.

– Не поедет Левин в Сочи, – сказал командующий, – ему теперь надо язву лечить, это в

Железноводске, что ли, или в Кисловодске? Налить вам водки, подполковник? Я знал одного язвенника, так он только чистым спиртом лечился, говорил – прижигания очень полезны.

Что вам можно? Сыру можно? Трески жареной желаете?

– Нет, благодарю вас, – сказал Левин, – я лучше чаю выпью с сухариком. Мне это всего полезнее покуда.

подавальщица салона Зина одобрительно взглянула на подполковника. Ей очень нравилось, когда гости командующего не накидывались по-хамски на закуски. Надо же понимать, что в салоне тоже норма и на всех этих прожорливых летчиков никогда не напасешься. Вот давеча был тут майор Михайлов – подвинул к себе сыр гаудэ и съел сразу четыреста граммов. А этот подполковник пьет себе чаек и кушает корочки – сразу видно, что доктор и умеет себя держать.

За едой говорили о спасательном самолете. Левин даже нарисовал чертежик – как все должно быть оборудовано, и отдельно, покрупнее, изобразил автоматический трос, предложенный Курочкой. За этот трос должны хвататься утопающие.

– А что? Остроумно, право, остроумно, – сильно жуя крепкими зубами над ухом Левина, сказал Петров. – Ах, голова у Курочки, Василий Мефодиевич, удивительная голова. Тут что же, шарикоподшипники, что ли, подполковник?

Левин не знал и ответил, что не знает.

– Он нам так и немца-летчика доставит, – сказал командующий, – немец-то за трос первым схватится, еще нашего оттолкнет. Привезете немца, доктор? Или это нынче негуманно с точки зрения международного Красного Креста? Нынче что-то там сломалось вовсе в этом Красном Кресте, ничего не понять, верно ведь?

– Верно, – улыбаясь, ответил Левин.

Зина принесла ему с кухни свежих сухариков, и он грыз их еще молодыми, ровными, белыми зубами. А командующий и Петров говорили о том человеке, который должен управлять будущим спасательным воздушным кораблем.

– Вы о ком-нибудь персонально думали? – спросил командующий. – Курочка ведь тоже знает ваших людей. Толковали с ним?

Левин ответил, что они с Курочкой не раз обсуждали кандидатуру Боброва и что пришли к выводу – плохой пилот погубит идею, идея будет дискредитирована.

И, размахивая в воздухе карандашом, принялся объяснять, каким, с его точки зрения, будет хорошее начало. Объяснял он долго и подробно, и по тому, как он остаавлялся на случайностях, возможных в таком деле, было видно, сколько вложено в эту идею сил и труда.

Командующий и Петров слушали молча, не перебивая. В стаканах остывал чай.

Пощелкивало в радиаторах парового отопления. Несколько раз входил и что-то докладывал на ухо командующему оперативный дежурный. Василий Мефодиевич кивал головой, задумчиво соглашаясь, помешивал ложечкой остывший чай. Петров курил.

Зина, стоя на своем всегдашнем месте у самоварного столика, тоже слушала Левина и от усталости за день то и дело засыпала. Во сне она видела огромный самолет над студеным морем, видела, как в самолете сидят доктора в халатах с инструментами, как эти доктора смотрят в окна и вдруг самолет опускается, опускается и садится на быстро бегущие волны. И из самолета выходит какая-то веревка, веревка волочится за ним по волнам, В пилот в это время кричит в трубу, потому что воют моторы и шумит море и совершенно ничего не слышно. А летчик в капке, обожженный и раненый, как когда-то генерал Петров, из последних сил плывет к самолету. В небе же в это время продолжается сражение, сражаются друг с другом наши и фашистские самолеты, и вдруг один немец увидел нашу спасательную машину. Обрадовавшись, он камнем ринулся вниз, но не тут-то было!

– Не тут-то было! – сказал Александр Маркович, – Вот вам наше вооружение. И вот вам сила огня и пулеметного и пушечного, впрочем, это, разумеется, приблизительно, я тут не совсем уверен...

– Боюсь, что вы путаете, – сказал командующий, – не поднимать вам такое вооружение.

Да и какой смысл? Мы нам лучше истребителей будем давать с дополнительными бачками...

– Но это же не очень важно – путаю я или нет. Важно то, что куда я или другой военврач оказывает помощь спасенному из воды, машина готовится к взлету. И вот, пожалуйста, мы стартуем и ложимся на обратный курс. В случае если мы получаем сообщение еще о таких! происшествиях, мы возвращаемся и производим посадку вновь, но на положении первых спасенных это никак не отражается. Спасенные уже находятся в условиях, близких к стационарным. Первая помощь любого типа ими уже получена. Обогревание и прочие процедуры, выполненные квалифицированным персоналом, закончены. Как я себе представляю, состояние нервного подъема уже покинуло спасенных, они спят сладким сном, обстоятельства дальнейшего рейса им неизвестны и непонятны...

– Зинаида, чаю! – сказал командующий.

– И мне, Зинуша, – попросил Петров.

Зина, покачиваясь спросонья, принесла горячего чаю. Командующий посмотрел на нее и засмеялся.

– Смотрите, спит! – сказал он. – Как пехотинец на марше.

И, повернувшись всем туловищем к Левину, сказал все еще веселым и звонким голосом:

– Ну, что ж, одобрим, Петров? А? На мой взгляд, отличная идея. И если все пойдет благополучно, создателей самолета от имени нашего Советского правительства наградим, а?

Наградим, Петров? Как ты считаешь?

Петров молча улыбался глазами.

– Создателей наградим, – уже серьезно и даже раздраженно повторил командующий, – ну, а тех, которые мешали, не помогали, разных там Шереметов, тех накажем. Понимаете, подполковник? Сурово накажем, чтобы работать не мешали.

Потом они оба проводили его до приемной и долго еще, стоя, разговаривали о спасательном самолете. Тут же в стороне, вытянувшись, стоял вызванный к командующему Шеремет. И Левин спиной чувствовал, как выглядит Шеремет, каким привычно восторженным взглядом он смотрит на командующего и какой он весь образцово-показательный в своем роскошном кителе, в наутюженных брюках, в начищенных до зеркального глянца ботинках.

– Ну, добро, – сказал командующий, – вопрос о Боброве мы завтра же окончательно решим с начальником штаба. До свиданья, подполковник. Рад, что заглянули.

Вдвоем с Петровым он ушел к себе в кабинет, адъютант нырнул туда же, и тотчас Шеремет спросил:

– Зачем меня вызывают?

– Не знаю, – сказал Левин.

– Но обо мне была речь?

– Была.

– И что же?

– Я изложил свое мнение, – сказал Левин. – Оно сводится к тому, что вы плохой работник. Впрочем, я это говорил вам в глаза.

Шеремет сжал губы. Выражение бравой независимости и старательности сменилось выражением, которого Левин раньше никогда не видел на лице Шеремета: тупой страх как бы оледенил лицо начсана.

– Вас, наверное, снимут с должности, – сказал Левин, – и это будет хорошо нам всем. И санитаркам, и сестрам, и докторицам, и докторам. Мы устали от вас и от шума, который вы производите. До свиданья.

Дорогая Наталия Федоровна!

Сейчас довольно поздно, но мне что-то не спится. Был я у своего начальства и порадовался на человеческие качества некоторых товарищей. Мне, как Вам известно, много лет, и повидал я в жизни разного – худого, разумеется,

куда больше, нежели хорошего, и, может быть, поэтому настоящие люди, люди нашего времени, чистота их и благородство неустанно вызывают во мне восхищение и желание быть не хуже, чем они. Простите меня за несколько выпяченный слог, я вообще нынче что-то пребываю в чувствительном состоянии, наверное это от лежания и от ничегонеделания. Лежа в своей шестой палате, дочитал «Палату № 6» А. П. Чехова. И, боже мой, как это опять перевернуло мне душу, как почувствовал я разницу между тем временем и нынешним, между тем государственным устройством и нашим. Та палата No 6 была реальной повседневностью, нормой, а нынче ведь нас бы за это судили, и как еще судили, не говоря о том, что Андрей Ефимович не смог бы прожить и месяца среди нас. Кстати, чеховская палата № 6 существует и на моей памяти – я в шестнадцатом году видел буквально такую больницу и местечке Большие Гусищи. Помните, у Чехова: «В отчетном году было обмануто 12.000 человек; все больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное из высшей степени вредное для здоровья жителей». Так думает Андрей Ефимович о своей больнице, и думает совершенно справедливо. Можем ли мы сейчас представить себе хоть одного врача, который бы на мгновение так подумал о своей деятельности? Нет, это решительно невозможно, немыслимо.

Невыносимо грустно было читать. Помните? «Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна освещала его». Стоит ли так жить?

Нет, так немыслимо, невозможно жить. И умирать так нельзя. Впрочем, нам еще рано об этом размышлять, Нам дела еще много осталось.

Кстати, я совершенно потрясен: ваш Виктор женится? Выходит, мы уже старые люди?

Будьте здоровы и не скучайте. О Н. И. опять слышал – делает удивительные дела.

Впрочем, я не удивляюсь – я всегда верил в его характер, в его талант.

Ваш А. Левин

12

Пока все проходило благополучно. Командующий спрашивал, Шеремет отвечал. Почему же и не спрашивать командующему, это его право. И, ободрившись, Шеремет пустился в рассуждения.

Он даже рассказал анекдот к случаю. У него всегда были анекдоты к случаю, он тщательно их собирал и никогда не забывал.

Но ни командующий, ни Петров не улыбнулись.

Это Шеремету не понравилось.

– Да, вот еще что, полковник! – сказал командующий и помолчал, как бы собираясь с мыслями.

Шеремет изобразил на своем широком лице внимание и заинтересованность.

– Давеча был я в бане!

"Начинается", – подумал Шеремет. И тотчас же лицо его приняло покорное и виноватое выражение.

– Черт знает что вы там устроили, – говорил командующий, холодно и зло глядя в подбородок Шеремету. – Бумажные цветы поставили, ковер из Дома флота притащили, одеяла из госпиталя, простыни, квас сварен из казенных сухарей. И, говорят, баню для командного состава закрыли на два часа раньше. Верно это?

– Так точно, виноват, – сказал Шеремет.

– Стыдно, полковник, стыдно, – вставая с места, брезгливо, почти с отвращением сказал командующий, – стыдно и подло.

При слове «подло» Шеремет порозовел от страха. Он стоял по стойке «смирно» – руки по швам, живот втянут, подбородок вперед, покорное и виноватое лицо, но сейчас это ничему не помогало. Сейчас заговорил Петров. Петров ходил за спиной Шеремета и говорил негромко, совершенно не стесняясь в выражениях.

– Вы чужой человек в авиации, – вдруг сказал Петров, – понимаете? Вот Левин не летчик и не техник, однако он свой человек в нашей семье, а вы только едок – вы с ложкой, когда мы с сошкой.

"Повернуться к нему или не повернуться? – думал Шеремет. – Если я повернусь к нему, то буду спиной к командующему. А если не повернусь, тоже будет плохо, Э, да что там, все равно хуже не бывает".

– Почему вы так топали ногами на Варварушкину? – спросил командующий.

– И насчет бани доложите подробно, для чего это вы все затеяли! – сказал Петров.

Вопросы посыпались на него градом. Он не успевал отвечать. И каждый его ответ сопровождался репликами, от которых у него подкашивались ноги. Он уже не понимал, кто бросает эти уничтожающие реплики, он только поводил своей большой головой, и тупой, тяжелый страх все больше и больше сковывал его жирное тело.

"Надо молчать, – решил он, – пусть будет что будет. Надо молчать и надо бояться.

Начальство любит, чтобы его боялись".

По и здесь он ошибся: это он любил, чтобы его боялись, чтобы хоть немножко трепетали, входя к нему в кабинет, а они – ни командующий, ни Петров – терпеть не могли испуганных подчиненных. Одно дело, если человек осознал свою неправоту, понял, что ошибся, совсем другое дело, если он просто боится. И так как Шеремет боялся – он стал им обоим неприятен.

Поэтому, переглянувшись, они оба сурово помолчали, и погода командующий сказал Шеремету, что тот может быть свободен.

– Есть! – ответил Шеремет.

– Доложите начсанупру флота, – сказал командующий, – что я накладываю на вас взыскание и прошу генерала мне позвонить, как только он прибудет из города.

– Есть! – повторил Шеремет, еще не понимая сути слов командующего, но уже чувствуя на спине холодок и все еще не уходя.

– Так вот – можете быть свободным! – еще раз произнес командующий и кивнул.

Петров тоже кивнул и отвернулся.

"Плохо! – подумал Шеремет. – Но не слишком. Могло быть хуже. Впрочем, ничего особенного: маленько перестарался, но ведь я хотел сделать как лучше. Ну что же – ошибся: если бы я был командующим, мне бы лично нравилось, что мне так подготовили баню.

Должен же был командующего, отношение к нему, чуткость, – должно же это все отличаться от того, как мы все относимся к рядовым летчикам. Ах, глупость какая, надо же так не угадать..."

Из кабинета он вышел еще бодрясь, но на лестнице вдруг совсем испугался – до того, что заныло под ложечкой: "Накладываю взыскание, пусть позвонит генерал!" Для чего звонить генералу? Для какого-то особого разговора? Для секретного? Может быть, они еще чего-нибудь проведали?

И ему вдруг припомнился недавний и громкий скандал в терапевтическом отделении госпиталя, когда он, Шеремет, приказал очистить палату для заболевшего гриппом нужного и полезного майора из интендантства. Вспомнился капитан-фронтовик, пожилой человек, в прошлом директор сельской школы, заболевший на переднем крае острым суставным ревматизмом, и вспомнились все те слова, которые произнес тогда этот капитан. Капитан был прав во всем, но Шеремет страшно обиделся, потому что решил для себя (так было удобнее), что интендантский майор нужен вовсе не ему самому лично, а нужен госпиталю. В какой-то мере это было верно, но только в малой мере, и теперь Шеремету показалось, что и командующий и Петров знают все то, что тогда сказал капитан. Так как сам Шеремет вечерами, на досуге не раз занимался писанием рапортов и докладных записок,

попахивающих доносами, то и про других людей он всегда думал, что они тайно пишут "на него". И теперь он твердо решил, что на него "много написано писанины" и что он пропал. Конечно, пишут все – Левин, и этот капитан, и Варварушкина, и разные другие, не все ли равно кто, когда теперь все вдруг зашаталось, завтрашний день стал сомнительным, а о послезавтрашнем не стоит даже и думать. Произошло нечто ужасное, остановить ничего немислимо, начсан полковник Шеремет сейчас, может быть, вовсе и не начсан и даже не полковник, он – просто Шеремет, а просто Шеремет, без звания и должности, – это пар, ноль, ничто. Разумеется, он – врач, но кого он лечил в последний раз и когда, кто знает врача Шеремета? Никто. Его знали как начальника врачей – вот и все, как заведующего, и иногда он еще читал лекции – он ведь хороший общественник и лекции читал недурно, – что-то о гигиене на производстве, об охране материнства и младенчества... Но какое это имеет теперь значение?

Раскуривая на ветру папиросу, он вдруг заметил, что его большие, крепкие руки дрожат. И вкус папиросы – хорошей, высшего сорта папиросы – показался ему неприятным, словно пахивало горелой тряпкой.

Возле госпиталя он встретил Баркана и обрадовался ему.

Левин был врагом Баркана, и Левин был врагом Шеремета. Сейчас Шеремет обязан был объединить вокруг себя всех недругов Александра Марковича. Левин погубил Шеремета и несомненно готовился к тому, чтобы погубить Баркана. И, стараясь говорить спокойно, даже несколько иронически, Шеремет поведал Баркану всю историю про баню и про то, что сказали командующий и Петров.

– Это все? – жестко спросил Баркан.

– Все! – ответил Шеремет.

– Плохо! – произнес Баркан.

– Что, собственно, плохо?

– Скверная история! – неприязненным голосом произнес Баркан. – Я не поклонник Левина, но вы попали в скверную историю. Левин тяжелый человек, но, знаете, я не могу вам выразить сочувствия, товарищ полковник.

Он помолчал и коротко вздохнул:

–: Может быть потому, что у меня тоже тяжелый характер?

Потом, козырнув, скрылся в темноте. А Шеремет шагал к себе и думал: "Блокируется!

Понимает, что Шеремет уже не Шеремет. То есть Шеремет еще Шеремет, но он уже не полковник Шеремет, не прежний Шеремет..."

13

– Вчера командующий мне поднес пилюльку, – сказал Левин. – Как вам не стыдно, Федор Тимофеевич. Неужели вы думаете, что я ребенок, играющий в игрушку? Наша затея серьезное дело, и я это хорошо понимаю.

Курочка молчал и улыбался, с удовольствием глядя на Левина. Он любил сидеть в тепле левинской ординаторской, любил слушать, как ворчит доктор, любил попить у него некрепкого чаю с сухариком. Сам того не зная, он любил Александра Марковича.

– Что же будет с сегодняшним испытанием?

– Будем испытывать, – сказал Курочка. – Денег испытания не стоят, риску тоже нет, почему же нам не довести испытания костюма в его нынешнем состоянии до конца?

Командующий, во всяком случае, считает испытания полезными. Ну, а потом подумаем. Вы несогласны?

Пришел Дорош, потом явился Калугин, через несколько минут после него – Шеремет.

Начсан был несколько бледен и говорил томным голосом. С Левиным он поздоровался демонстративно вежливо, но с некоторым оттенком официальности. Усевшись на диван, он стал напевать едва слышно, чтобы они не думали, что с ним все кончено.

"В крайнем случае мне угрожает склад, – думал он, напевая из "Риголетто".

– Это, конечно, очень неприятно, это значит – я погорел, но зато должность тихая, и если вести себя прилично, то хуже не будет. А оттуда я напишу е м у".

Про этого человека он всегда думал как бы курсивом. Когда-то Шеремет угодил этому деятелю и начальнику и с тех пор держал его "про запас", никогда не тревожа пустяками, а пописывая изредка бодрые письма и оказывая маленькие, но симпатичные знаки внимания его супруге и его семье, находящимся в эвакуации. И от него он получал иногда короткие писульки, написанные чуть свысока, но все же дружеские и, как думал сам Шеремет, "теплые".

Вот этот он и должен был впоследствии, не сразу, но обязательно помочь Шеремету, – конечно, не здесь, а где-нибудь в другом месте, там, где шереметовская расторопность и услужливость будут оценены по достоинству. Ночью, вспомнив о нем, Шеремет твердо решил держаться бодрее.

И нынче он опять подумал, что не все еще окончательно потеряно, что грустить на виду у всех нет причин и что нынче же он напишет жизнерадостное фронтное письмо ему и его семейству.

А подумав так, он тотчас же энергично втиснулся в общий разговор Дороша, Левина, Курочки и Калугина.

* * *

– Ну не везет же нам с погодой, – сказал краснофлотец Ряблов. – Покуда вы болели, товарищ подполковник, погоды были во! А поправились, опять море играет!

Он подал руку Левину и перетащил его на корму, туда же перетащил Шеремета и Курочку. Дорош и Калугин сели на передние банки.

"Сердце красавицы склонно к измене..." – напевал Шеремет, глядя на серые пенные валы и на далекий силуэт эсминца. Потом он открыл портсигар, угощая офицеров толстыми папиросами. "И к перемене, – напевал он, предлагая взглядом свои папиросы, – и к перемене, как ветер мая".

Папирос у него никто не взял, он зажег зажигалку-пистолет и прикурил, аппетитно причмокивая. Матросы подняли весла. Старшина вопросительно взглянул на Шеремета–старшего в звании.

– Давай, давай, – сказал Шеремет, – давай, друже, побыстрее. Провернем эту формальность сегодня – и обедать. С вас хороший обед нынче, товарищи костюмные конструкторы.

Потом он похвалил костюм. Вышло даже так, что нынешние испытания вовсе не нужны, потому что всем известно, какое это замечательное достижение – костюм.

Курочка молча улыбался.

Левин тоже вдруг улыбнулся и толкнул Федора Тимофеевича локтем в бок.

– К прежней вешке, товарищ подполковник? – спросил старшина.

Александр Маркович кивнул. Серые низкие тучи быстро бежали по небу. С визгом из-за скалы вынырнуло несколько чаек – косо раскинув крылья, помчались за шлюпкой.

Покуда шли к вешке и покуда заряжали Дорошу грелки и аварийный паек, – стемнело. Весело показывая белые зубы, Дорош помахал комиссии рукою и прыгнул в волны, потом перевернулся на спину и закричал:

– Ну и штука! Великолепно, товарищи, замечательно! Давай за мной, я поплыву!

– Этот нас погоняет, – усмехнулся Курочка и наклонился к воде, чтобы лучше видеть. Но ничего не увидел, кроме мерцающих волн да белой пены, что неслась по заливу.

Шеремет курил и с деловым видом глядел на светящуюся стрелку хронометра. Время шло нестерпимо медленно.

– Э-ге-ге! – кричал Дорош. – Ищи меня, ребята! Э-ге-ге-ге!

– Право, не следует задерживаться, – сказал Шеремет. – Все ясно, люди сработали прекрасную вещь, о чем тут можно толковать!

– Салонные условия испытания, – сказал Курочка. – Залив, шлюпка идет. Надо думать об океане, о травмированном летчике, а не о детских игрушках вроде этой.

И засмеялся злым тенорком.

– Но вода и тут имеет минусовую температуру, – с недоумением ответил Калугин. – Что же касается до травмированного летчика, то Дорош, если я не ошибаюсь, плывет сейчас с протезом. И вообще я не понимаю твоего тона, Федор Тимофеевич.

. – А я понимаю, – сказал Левин.

Курочка предложил выпить, и Калугин открыл фляжку с коньяком. Шеремет светил фонариком, покуда всем налили, и, сердито фыркая, выпил свой стаканчик.

– Э-ге-ге-ге! – кричал Дорош. – Ищите меня, хлопцы, бо я далеко.

Это ему казалось, что он далеко, па самом деле шлюпка шла за ним следом. И при свете сильного электрического фонаря все видели, как Дорош ест и даже пьет.

Акт писали в госпитале, в ординаторской. Курочка, Калугин и Дорош сидели рядом на клеенчатом диване и пили чай стакан за стаканом. Шеремет расхаживал по комнате из конца в конец.

– Ну, так вот, – сказал вдруг Курочка, – я думаю, что резюмировать это надо в следующем духе...

Он обвел всех веселым взглядом, подумал и заговорил медленно, подбирая слова:

– В таком духе, что испытания прошли удовлетворительно, что костюмчик в общем и целом, и так далее... но! Но! Вот тут-то и есть загвоздка. Но костюмчик не предусматривает случаев падения летчика в бессознательном состоянии лицом вниз, понимаете?

В ординаторской стало очень тихо. Шеремет остановился. Зажигалка горела в его руке, он так и не закурил.

– А ведь падение лицом вниз вещь распространенная, не так ли? – спросил Курочка. – Поэтому предложить авторам костюмчика разработать и решить задачу автоматического поворота или поворачивания пострадавшего на спину в воде. Так? Ну-с, и покуда авторы эту задачу не решат, дело полагать законсервированным.

Шеремет наконец прикурил.

– Этим мы и закончим, – сказал Курочка, – но не навсегда, конечно, а только на нынешнем этапе. Вопросы есть?

Вопросов не было. Александр Маркович молча писал, "...полагать законсервированным", – написал он и поставил жирную точку.

14

Размеренно нажимая подошвой башмака на педаль умывальника, Александр Маркович мыл руки. Это было скучное занятие – мыть руки перед операцией, он издавна приучал себя в это время думать на определенные темы и вот уже лет пятнадцать не замечал процесса мытья рук. Это был совершенно механический процесс – сначала мыло и щетка, потом Верочка подавала йод, потом поливала руки Левина спиртом и сама говорила: «Готово». Если она не говорила этого слова, он еще десять минут мог держать свои большие ладони лодочкой.

Верочка была как будильник с резким, трещащим голосом.

– Готово! – сказала Верочка и открыла перед ним дверь. Он вошел в операционную, держа руки ладонями вперед, и, прищурившись, посмотрел на стол, на котором лежал Бобров.

Лицо летчика было неподвижно, но глаза с сегодняшнего утра словно бы побелели и оттого потеряли прежнее выражение собранной и напряженной воли. Теперь Бобров уже не мог справиться с физическими страданиями, они были сильнее его, они одержали над ним победу.

Капитан Варварушкина подала Левину рентгеновский снимок, но не в руки, а на свет, так, чтобы он мог все видеть еще раз, но ни до чего не дотрагиваться. Жужа губами, он

рассмотрел все четыре снимка и подошел к столу. Брезгливое выражение появилось на его худом лице. Это означало, что ему трудно. Он все еще жевал губами, как старик, как его отец, когда он приехал к нему прощаться в больницу, – отец умирал от рака.

– Скорее бы, товарищ начальник, утомился я, – сказал Бобров сердито.

Наверное, он не узнал Левина, потому что теперь у доктора был завязан рот и белая шапочка была надвинута на самые глаза, почти закрывая мохнатые брови.

Внезапно он начал ругаться – очень грубыми словами. Это случается с людьми, когда их наркотизируют. Потом Анжелика Августовна подала Левину скальпель. Верочка по его знаку спустила ниже рефлектор. Капитан Варварушкина изредка, ровным голосом сообщала, какой частоты и наполнения пульс. Минут через десять Левин сказал Анжелике:

– Надо меньше думать про завивку ваших кудрей и больше про дело. Надо соображать голову.

Еще несколько погодя он крикнул:

– Что вы мне даете? Я вас посажу на гауптвахту!

– Я даю вам то, что нужно, – басом ответила Анжелика Августовна. – Я соображаю головой.

– Извините, – сказал Левин.

Опять сделалось тихо. Верочка подставила тазик. Туда с сухим стуком упал осколок.

– Оставьте ему на память, – велел Левин и извлек длинными пальцами еще два осколка.

Бобров дышал ровно, но с всхлипами. Варварушкина изредка привычным жестом гладила его по щеке. Верочка еще раз показала Левину снимки. Он долго вглядывался в них, держа руки перед собою, и наконец решился. В сущности, он решился уже давно, а сейчас он только подтвердил себе свое решение. Боброва повернули на столе. Все началось сначала.

– Продолжайте наркоз! – сказал Александр Маркович.

Через несколько минут он увидел почку. Осколок засел в ней глубоко, и с ним пришлось повозиться. Дважды у Левина делались мгновенные головокружения, но он справлялся с собою, и только на третий раз велел Верочке подать капли, приготовленные перед началом операции.

Верочка оттянула повязку с его рта и вылила капли ему в горло. Операция длилась уже более часа.

Даже Варварушкина стала тяжело дышать. Анжелика Августовна дважды роняла инструменты. Верочка вдруг шепотом сказала: "Боже ж мой, боже мой!" – Кому не нравится, тот может убираться вон, – сказал Левин. – Или, может, тут есть слишком нервные люди?

Никто ему не ответил. Никто даже не понял, что он сказал. Все знали – подполковник болен, ему тяжело, операция сложная, если хочет – пусть ругается любыми словами. Может быть, ему от этого легче.

Прооперировав Боброва, он сел на табуретку и закрыл глаза.

Большое поле с рожью и цветочками проплыло перед ним. Цветочки покачивались па ветру, рожь ложилась волнами, и тени бродили по ней.

Левин открыл глаза.

Анжелика стояла перед ним с градуированной мензуркой в руке.

– Это немножко спирту, – сказала она. – Двадцать граммов. И тридцать граммов вишневого сиропу. Вам будет очень хорошо. Пожалуйста, Александр Маркович, будьте так добры!

Маленькие круглые глазки Анжелики были печальны и полны сочувствия.

Левин выпил и опять закрыл глаза.

Теперь он увидел снег. Снег падал и падал, и цветочки покачивались в снегу. Это уже была чертовщина.

– Я полежу полчаса, – сказал Левин. – В ординаторской. Пусть мне принесут туда чаю и сухарик. Через полчаса позовите меня. И подготавливайте этих двух... этих двух молодых людей. Один – резекция голеностопного сустава, а другой – пальчики. Опять я не помню фамилии.

Он виновато улыбнулся:

– Хороший, чуткий врач непременно знает фамилию и имя-отчество. Когда я был молодым, мне все это давалось легко, а теперь я помню только сущность дела, а остальное забываю. Наверное, меня пора выгонять вон...

– Ну что вы такое говорите! – возмутилась Анжелика.

– То и говорю. Еще есть кто-нибудь на сегодня?

Варварушкина молча кивнула головой. Да, еще один истребитель. Его только что привезли. Доктор Баркан считает, что надо оперировать.

– Хорошо, я посмотрю, – сказал Левин. – Проводите меня, пожалуйста, Верочка, меня тошнит, и эти отвратительные головокружения.

Верочка взяла его под руку и повела к лестнице. Чтоб не выглядеть жалким, он надменно улыбался и по дороге сделал замечание двум санитаркам, разносившим обед.

– Сейчас вам чайку принесу и сухарики, вы себе пока отдыхайте, – сказала Верочка, – и до вас никого не пущу. Матроса с автоматом поставлю у двери.

Александр Маркович лег.

Закрывать глаза он боялся.

Лукашевича вызывать уже поздно. Баркана как хирурга он толком не знал. Надо все делать самому. А тут эти проклятые цветочки перед глазами и поле, в котором растут злаки. Он никогда точно не отличал рожь от пшеницы. И цветы он тоже путал: разные там гортензии или левкой.

Или еще хризантемы.

Верочке он сказал:

– Принесите сюда шприц, моя дорогая, и ампулу с кофеином. Вот я выпью свой чай и полежу, а потом вы мне впрысните кофеинчику.

Верочка принесла и то и другое и привела с собою капитана Варварушкину. Та спокойно села возле Левина на диван и теплыми пальцами взяла его запястье. Он смотрел на нее снизу вверх близорукими без очков глазами и тихо улыбался.

– И ничего смешного, товарищ подполковник, – строго сказала Варварушкина. – Я нахожу, что Шеремет был прав. Такое расходование самого себя по меньшей мере нерентабельно.

Левин все еще улыбался. Дверь скрипнула, вошел Баркан. За ним просунулась Анжелика.

– Послушайте, убирайтесь все отсюда! – сказал Левин. – Или человек не может немного отдохнуть? Даже странно, что вы еще не вызвали начальника госпиталя и замполита.

Попив чаю с ложечки, он снял китель и засучил рукава сорочки. Анжелика взяла из рук Верочки шприц и; сделала ему укол. Варварушкина подала ему очки. Баркан, заложив руки за спину, сердито глядел на Левина кофейными зрачками.

– Ну, можем идти, – сказал Александр Маркович. – Я отлично себя чувствую. Пойдемте, гвардейцы от медицины. Пойдемте, дети, вперед, и выше мы должны смотреть, вот как!

Он открыл дверь и, напевая под нос "Отцвели уж давно хризантемы в саду", пошел по знакомому до мельчайших подробностей коридору к той палате, куда привезли раненого истребителя. Очки его блестели. Халат – накрахмаленный и серебристый от глажения – приятно похрустывал. В зубах Левин держал мундштук, и это придавало всему его облику выражение заливчатской независимости. Кроме летчика-истребителя, только что привезли еще стрелка-радиста и двух молодых парней из команды аэродромного обслуживания – они оба попали под бомбежку. Баркан работал у одного операционного стола, Левин у другого. И каким-то вторым зрением Александр Маркович видел, что Баркан действует уверенно, спокойно, сосредоточенно и умно. А Баркан чувствовал, что подполковник – следит за ним, – и злился. Злился, еще не понимая, какому высокому чувству подчинена вся жизнь этого крикливого, скандального, неуживчивого человека.

– Если я не ошибаюсь, мне сейчас был учинен в некотором смысле экзамен? – спросил в коридоре Баркан.

– Не говорите глупости! – ответил Александр Маркович.

После операций был еще вечерний обход и перевязки, на которых он присутствовал, сидя, по обыкновению, в углу на табуретке и покрикивая оттуда каркающим голосом. К ночи, съев свою манную кашу и омлет из яичного порошка, он велел себе поставить кресло в шестой палате, где лежали после операции Бобров и капитан-истребитель. Бобров не спал – смотрел прямо перед собою еще мутным, не совсем понимающим взглядом. Истребитель стонал. Дежурная сестра поила его с ложечки водою.

– Дайте ему еще морфию, – сказал Левин, – а утром посмотрим. И принесите мне сюда сегодняшние газеты, я еще не читал. Там, у меня в кабинете на столе.

Просидев еще часа два, он на всякий случай заглянул во все палаты и в коридоре прислушался к шепоту вахтенного краснофлотца. Тот сидел у телефона с «рцы» на рукаве бушлата и не то молился, не то произносил слова какого-то заклинания.

– Вы что шепчете, Жакомбай? – спросил Левин. – Шу-шу-шу? Что за шу-шу-шу?

Краснофлотец встал, обдернул бушлат и улыбнулся доброй и сконфуженной улыбкой.

– Ну? – еще раз спросил Левин.

– Разные слова учу, – сказал Жакомбай. – Много слов есть красивых, а я не знаю, как говорить по-русски. Например: "интеллигенция советская", «интеллигент». В книжке написано.

– Ну и что же такое, например, "советский интеллигент"? – спросил Левин.

– Например, вы, товарищ подполковник, есть советский интеллигент. Так мне сказала старший сержант, и так мы все понимаем.

Казах теперь не улыбался, он смотрел на Левина серьезно.

– Вы есть советская интеллигенция, – сказал Жакомбай, – которая означает в вашем лице, что все свои научные знания и весь свой ум, который у вас имеется, вы до самой смерти отдаете для советских людей и ни с чем не считаетесь, как вы! И день, и ночь, и опять день, и идти не можешь, под руки ведут, и делаешь!

Он внезапно перешел на «ты» и сразу заробел. Левин молчал. В тишине вдруг стало слышно, как щелкают ходики.

– Я был в морской пехоте – боец, – сказал Жакомбай, – наше дело было – граната, штык, автомат, до самой смерти бить их, когда они сами не понимают. А вы, товарищ подполковник... мы тоже про вас знаем. Извините меня.

– Ну, хорошо, спокойной ночи, Жакомбай, – вздохнув, сказал Левин. – Спать пора.

И пошел к себе вниз – по крутым и скользким, сбитым ступенькам.

Дня через два, ночью, по своему обыкновению он наведился к Боброву. И сразу же услышал целый монолог, который ему показался бредом.

– От своей судьбы не уйдешь, – говорил летчик, – и как вы от меня, товарищ капитан, ни бежали, судьба нас вот где столкнула. Будьте ласковы, выслушайте до конца! Сначала я получил эту книжку сам лично у библиотечарши на Новой Земле. Она мне лично поверила и под честное слово дала.

В Архангельске на Ягоднике эту книжечку под названием "Война и мир", в одном томе все части, у меня на денек взял капитан Лаптев, потом эта книжка была в Свердловске – уже в транспортную авиацию попала. На Новой Земле я в библиотеке, конечно, за жулика считался. В Мурманске, на Мурманшах мне про эту книжку сказали, что ее некто Герой Советского Союза Плотников вместе с горящим самолетом оставил в Норвегии в районе Финмаркена...

– Вам не следует говорить, Бобров, – сказал Левин, не совсем еще понимая, бредит летчик или нет. Но летчик не бредил.

– Я остороженько, товарищ подполковник, – сказал он. – Но, честное слово, все нервы мне вымотали с этой книжкой. А товарищ капитан, как меня где увидит, так ходу. Давеча на аэродроме прямо как сквозь землю провалился.

– Никуда я не проваливался, – обиженным тенором сказал капитан. – Зашел в капонир, а вас даже и не видел.

– И Финмаркен оказался ни при чем, – продолжал Бобров, точно не слыша слов капитана, – книжка там действительно сгорела, только "Петр Первый" Алексея Толстого. А библиотекарша Мария Сергеевна мне в открытке пишет, что ничего подобного она от меня никогда не ожидала. Теперь есть летчик один, Фоменко, он истребителям, оказывается, эту книгу отдал, когда они перелет к нам делали. Отдал?

– Ну, отдал, – сердито ответил капитан. – Мне отдал.

– Вот! – уже задыхаясь от слабости, воскликнул Бобров. – Вам отдал. А куда же вы, извините за нескромность, эту книгу дели?

– В Вологде какой-то черт у меня ее взял на час и не вернул, – мрачно сказал капитан. – Я как раз до того места дочитал, когда Долохов кричит, чтобы пленных не брали. Когда Петю Ростова убили.

– А мне неинтересно, до какого вы места дочитали, – совсем ослабев, сказал Бобров, – факт тот, что опять книжки нет. С чернильным пятном была на переплете?

– С чернильным! – грустно подтвердил капитан.

Бобров замолчал и закрыл глаза.

Многоуважаемый майор Наталия Федоровна!

Сим напоминаю Вам, что ровно тридцать лет тому назад в этот самый день Вашего рождения один молодой доктор – не будем сейчас называть его фамилию – сделал Вам предложение. Это предложение Вы встретили грустной и насмешливой улыбкой. Вы заявили молодому влюбленному доктору, что Вам совершенно не в чем себя упрекнуть, так как Вы давно любите другого молодого доктора, которого зовут Николаем Ивановичем. Вы заявили также, что Вам странно, как можно было всего этого не замечать. Потом Вы захохотали и смеялись до слез, влюбленный же в Вас молодой доктор выскочил из Вашей комнаты как ошпаренный и не появлялся у Вас ровно год.

Двадцать девять лет тому назад молодой влюбленный доктор все-таки пришел к Вам и к Вашему молодому Николаю Ивановичу, который уже называл Вас Тата и спрашивал, куда девались его ночные туфли и кто взял со стола очень хороший, его любимый мягкий карандаш.

Впрочем, это все вздор.

Гораздо существеннее другое: проснувшись сегодня ночью и подумав о своей старости, я вдруг решил, что у меня есть семья и я вовсе не холостяк. У меня есть мой госпиталь, и в нем такие люди, у которых я тоже почти что могу спрашивать, где мои ночные туфли и мой прекрасный, главный, мягкий карандаш. Совершенно серьезно: госпиталь давным-давно перестал быть для меня только местом службы. Жизнь моя нынче до смешного неотделима от работы, и со страхом думаю я о старости и о том, что наступит день, когда я выйду «на покой», в общем уйду, чтобы более не возвращаться.

Характер у меня плохой, и Вы должны быть счастливы, что не вышли за меня замуж.

Давеча извинялся перед своей хирургической сестрой за то, что грубо на нее накричал.

Скоро общешлотская конференция. Хотите знать, о чем я буду делать сообщение? Вот, пожалуйста: «О применении общего обезболивания при первичной хирургической обработке огнестрельных переломов бедра и голени». Удивились? Удивляйтесь, удивляйтесь! Вы еще более удивитесь, когда узнаете, что эту работу я начал еще в первые дни войны. Вот Вам! Ну, а как Ваши панариции? Все на том же месте? Пора, пора дальше двигаться, неловко столько времени на одном месте торчать. Будьте здоровы. Почему Николай Иванович не прислал мне свою последнюю статью? Я ее в чужих руках видел.

Ваш Левин

Утром госпиталь осматривал генерал-майор медицинской службы Мордвинов – начальник санитарного управления флота. Высокий, плечистый, с красивым открытым лицом, он быстро ходил по палатам, разговаривал с офицерами, просматривал истории болезней, заглянул в аптеку, в лабораторию, побывал на кухне, или, как тут положено было говорить, "на камбузе", потом велел собрать весь персонал левинского отделения и, глядя в лицо Александру Марковичу блестящими черными добрыми глазами, поблагодарил Левина и его помощников за прекрасную работу и за образцовое состояние отделения. Подполковник ответил негромко и спокойно:

– Служим Советскому Союзу.

– Люблю бывать у вас, подполковник, – говорил Мордвинов, широко шагая по дороге на пирс. – Что-то есть в вашем отделении неуловимо правильное, особое, что-то характеристическое, чисто ваше. У других тоже неплохо бывает, и прекрасно даже бывает, и лучше, чем у вас, но не так. А у вас особый стиль. Настолько особый, что вот повар этот новенький, длинноносый такой, хоть он, наверное, и не плох, а видно – не ваш. Камбуз-чужой, не притерся еще к общему стилю. Вы несогласны?

– Не могу отыскать повара хорошего! – угрюмо ответил Левин. – Прислали – и хоть плачь.

– Да, совсем из головы вон! – вдруг воскликнул Мордвинов и, остановившись, повернулся к Левину всем корпусом. – Что это вы, батенька, я слышал, сами собрались на спасательной машине работать?

– Считаю, товарищ генерал...

– Никуда вы летать не будете, что бы кто ни считал, – очень тихо, но со служебным металлом в голосе перебил Мордвинов. – Ясно вам, товарищ подполковник? И не бросайте на меня убийственных взглядов, я с вами говорю сейчас не как Мордвинов с Левиным, а как генерал с подполковником. И при-ка-зы-ваю никуда не летать...

– Ну уж один-то раз я слетаю, Сергей Петрович, – бесстрашно и намеренно переходя на имя-отчество произнес Левин, – один-то разок мне обязательно надо слетать. Потом военфельдшер будет, но несколько первых раз.

– Прошу уточнить формулировку – первый раз или первые несколько раз.

– Первые разы, Сергей Петрович, потому что немыслимо.

– Вы полетите первый раз, один-единственный раз. И на этом разговор кончен. Ясно?

– Есть! – сказал Левин, услышав в голосе Мордвинова ту нотку, которая означала, что разговор окончен.

На пирсе, за будкой, среди пассажиров, ожидающих рейсового катера, сидел на чемодане Шеремет и делал вид, что читает газету: Левин почувствовал на себе его быстрый и недобрый взгляд.

– Уезжает, – негромко произнес Мордвинов. – Пришлось снять товарища. Вчера до трех часов пополуночи бил себя в грудь и произносил покаянные речи. Тяжелое было зрелище, скажу откровенно, даже жалко его стало...

Он помолчал, потом легонько вздохнул:

– К сожалению, совсем избавиться от него немыслимо. Есть дружок-покровитель, и довольно, знаете ли, номенклатурно-руководящий. Нахлебаемся мы еще горя от товарища Шеремета и будем хлебать, покуда не переведутся у нас любители особо подготовленных бань...

– А разве такие у нас есть? – не без ехидства спросил Левин.

– К сожалению – водятся.

– Но единицы же?

Мордвинов покосился на Левина умными глазами и спросил:

– Вы что меня разыгрываете?

Потом пожал руку Левину и на прощанье напомнил!

– Апеллировать к нашему начальству, то есть непосредственно к командующему, не рекомендую. У нас с ним насчет полетов ваших на спасательной машине общая точка зрения. Так что ничего, кроме неприятностей, от жалобы на меня не наживете. Договорились?

– Договорились! – согласился Александр Маркович.

– А военфельдшера я вам дам хорошего. У меня один такой есть на примете – стоящий парень и разворотливый.

Генерал легко взбежал по трапу на катер и помахал Левину рукой. У будки Александр Маркович почти столкнулся с Шереметом.

– Ну что, довольны? – спросил полковник с недоброй усмешкой.

– Пожалуй что да! – ответил Левин. – Хуже вас не пришлют нам начальника, вы и сами это знаете...

16

– И еще пройдитеесь! – приказал Левин. – Мускулатуру свободнее! Корчиться не надо! Я лучше знаю, как вам надо ходить! Прямее, прямее, не бойтесь, ничего не будет!

Бобров прошелся прямее. Солнечные блики лежали на линолеуме под его ногами. Он старался ступать на них.

– Раз, два, три! Тут не тянет, в икре? Вот здесь, я спрашиваю, не тянет?

Летчик сказал, что не тянет. Потом они сели друг против друга и покурили. Левин протирал очки, Бобров думал о чем-то, покусывая губы.

– Будешь, будешь летать, – сказал Левин на «ты», – не делай такой вид, что тебе твоя жизнь надоела и что ты не хочешь торговать пивом в киоске. Есть такая должность – киоскер. Так вы, товарищ Бобров, не будете киоскером. Вы будете как-нибудь летчиком.

Бобров смотрел на Левина исподлобья, недоверчиво и раздраженно. В самом деле, иногда Левин не мог не раздражать. Чего он дурака валяет?

А Левин вдруг сказал грустно:

– Знаете, Бобров, мне иногда надоела вас всех веселить и забавлять. И еще когда вы делаете такие непроницаемые лица. Посмотрите на него – он грустит, и посмотрите на меня – я веселюсь.

Летчик улыбнулся кротко и виновато.

– А я ничего особенного, – сказал он, – просто, знаете, скучно без самолета. Все наступать начнут, а я тут останусь. И главное, что сам виноват, вот что обидно. Не увидел, как он, собачий сын, из облака вышел. Надо же такую историю иметь. Хорошо, что вовсе не срубил, – плохой стрелок. Кабы мне такой случай, я бы сразу срубил. Нет, я б ему дал!

И, как бы намерстывая потерянное в разговоре время, он стал быстро ходить по ординаторской из угла в угол. Потом остановился и осведомился:

– Вот история, да? А ведь мне командующий сказал: "Теперь пойдешь на машину к подполковнику Левину. На спасательном самолете поработаешь".

Левин, стараясь сохранить равнодушие, промолчал.

– Так что вы теперь вроде мой начальник, – сказал Бобров. – Чем скорее подлечите, тем скорее летать с вами начну. Самолет-то готов?

– Разные доделки делают, – сказал Левин, – так, ерунду. В общем, можно летать хоть завтра.

И зашумел.

– Кто так ходит? Так ходить – все равно что лежать! Надо быстро ходить и аккуратно. Вот смотрите на меня. Вот я иду! Вся нога работает! Вся нога действует! Ничего не выключено! Ну-ка, сейчас же идите со мной! Дайте руку! Вот идут двое мужчин. Вот какая у них энергичная походка! Раз, два, три! Еще! Раз, два, три! Еще! Теперь быстро сядьте. В поясице не болит? Нисколько? Сейчас вы отдохнете два часа и сегодня же начнете

заниматься лечебной гимнастикой. Я к вам пришло Верочку, это ее специальность.

Проводив Боброва до палаты, он надел старый, истертый, рыжего цвета реглан и отправился вниз – туда, где расчаленный тросами у самого ската на залив стоял огромный серый поплавковый самолет. Там, на ящике, покуривал Курочка и рядом с ним грелся, как большой кот на солнце, Калугин. Солнце здесь, за полярным кругом, еще вовсе не грело, но Калугин для самого себя делал такой вид, что греется, и даже ворчал, в том смысле, что нынче сильно припекает и не пойти ли в тень.

– Привет! – сказал Александр Маркович. – Как идут наши дела? Кстати, я думал насчет красного креста. Все-таки имеет смысл нарисовать. Знаете, на фюзеляже и на плоскостях...

– Вы считаете? – спросил Калугин угрюмо и насмешливо.

– Я учился в Германии, – сказал Александр Маркович, – и немного знаю этот народ. Так невероятно, так дико себе представить...

– А вы не слишком задумывайтесь! – по-прежнему угрюмо посоветовал Калугин. – Сейчас не время задумываться. Всю эту сволочь, которая лезет к нам, надо бить беспощадно. Авось придут в себя...

– У меня был профессор-немец, – грустно и негромко продолжал Левин. – Патологоанатом. Светлый ум и...

– Вот для него вы и хотите наклеить на самолет красный крест? – перебил Калугин. – Так он не увидит вашего креста. Потому что, если он порядочный человек, то сидит в концлагере и ждет, куда мы его освободим. Во всяком случае, я лично не советую вам рассуждать насчет красного креста нынче...

– Да, да, это, конечно, так, – согласился Левин и задумался, вспоминая своего патологоанатома.

Все втроем они сидели и курили, щурясь на блестящую воду залива, и на далекие дымки кораблей, и на противоположный берег, слегка розовеющий своими снегами.

– Да, война-войнишка, – сказал вдруг Калугин и опять замолчал.

У него была такая манера: произнести одну, оторванную от всего фразу и опять надолго замолчать.

А Курочка насвистывал. У него был удивительный слух и никакого голоса, но свистел он отлично – тихо, едва слышно и необыкновенно мелодично, будто не человек свистит, а где-то далеко-далеко играет большой оркестр, и слышно не все, что он играет, а только самое главное, самое трогательное и самое нужное в эти мгновения.

– А потом все мы возьмем и умрем, – опять сказал Калугин со злорадством в голосе. – И тот, кто жил, как свинья, исчезнет навеки, как будто его и не было.

– А тот, кто жил человеком? – осторожно и негромко спросил Левин.

– Надо, товарищи, надо жить по-человечески, – опять сказал Калугин, не отвечая на вопрос Левина, – а то вот этак и прочирикаешь.

И опять надолго замолчал, угрюмым взглядом глядя на спокойные воды залива.

– Боброва к нам назначили на нашу машину, – сказал Левин, – скоро подлечится, и можно будет начинать работу. Он пилот первоклассный.

Курочка с интересом посмотрел на Левина. Потом потянулся и, окликнув сержанта из аэродромной команды, пошел к самолету.

Одевал Александра Марковича майор Воронков у себя в комнате. Тут же на стуле сидел Бобров и говорил, что ничего этого не нужно, что в машине тепло, отсеки отапливаются, а в унтах доктор не сможет работать.

– Еще парашют ему прицепите, – сказал Бобров, когда майор надел на Левина желтую капку, – чудака, ей-богу, человек. Все равно подполковник там все это скинет.

– Ну и пусть скидывает, а я делаю как положено, – сказал Воронков сердито. – Подполковник человек в годах, мало ли что может случиться. А капка не мешает.

Машина стояла на воде, – в окна комнатки Воронкова было видно ее огромное, китообразное, как казалось Левину, тело. Механики прогревали моторы. Из серой «санитарки» два незнакомых матроса носили тюки на катер, с катера их втаскивали в

самолет.

– Одного оборудования таскаем, таскаем, – сказал Бобров. – Богадельня, а не самолет.

Он считал своим долгом ворчать по поводу спасательного самолета и всячески критиковал все, что там делалось.

– Ты погляди, майор, – сказал он Воронкову, – ты погляди, сколько всего таскаем. Очень теперь легко будет в воду падать, если что случилось. Товарищ подполковник к каждому боевому самолету в сопровождение такое чудо-юдо назначит. Касторка там, клистир, все, что от науки положено.

– И очень неостроумно! – сказал Левин. – Тяжело шутите, товарищ Бобров.

Он закурил папиросу и сел. Майор Воронков смотрел на него издали.

– Если не знать нашего подполковника, – сказал Воронков, – то можно подумать, что он какой-нибудь там отец русской авиации или там дедушка русского парашюта, верно?

– Дедушка, бабушка, – пробурчал Левин, разглядывая себя в маленькое бритвенное зеркальце Воронкова. – Мне лично кажется, что я как раз очень похож на бабушку. В моем возрасте вообще как-то так случается, что некоторые особи мужского пола становятся похожими не на дедушек, а на бабушек...

– Это как же? – не понял Воронков.

– А очень просто. Впрочем, я шучу. Скажите, ожидается сегодня какая-нибудь операция? Воронков кивнул.

– Что ожидается?

– Воевать сегодня будем. Имеются такие сведения, товарищ подполковник, что немцы свою живую силу и технику погрузили на транспорты и угонять собрались из северных вод. А наша авиация постарается эти транспорты утопить. Ясно?

– Неужели эвакуируются? – спросил Левин.

– А чего же им дожидаться?

– Туда бы с бомбочками подлетнуть, – сказал Бобров, – а мы вот летающую больницу построили. Вынем из воды товарища летчика в нашу больницу и сейчас ему температуру смерим. И анализы начнем делать.

– Вот видите, как он меня ненавидит, – кивнул Левин на Боброва. – Просыпается с чувством ненависти ко мне и засыпает с таким же чувством. И все потому, что на спасательный самолет назначен.

– А вы на него не обращайтесь внимания, – посоветовал Воронков, – или призовите к порядку. Разболтался парень. Ну и характер, конечно, кошмарный. Бобров, верно у тебя кошмарный характер?

Александра Марковича слегка познабливало, и хотелось лечь, но сегодня ожидалась возможность вылета спасательной машины в первый рейс, и он не мог не полететь. Ждали долго – часа два. Потом заглянул Калугин, вытер ветошью руки и рассказал, что будто бы разведчик Ведерников первым засек караван, но транспорты скрылись в фиорде и сейчас их не могут обнаружить. То, что караван был, это подтверждено снимками, Калугин сам видел снимки – караван серьезный, выпелов пятнадцать, если не считать кораблей охранения.

– Отыщется, – сказал майор Воронков.

– Он теперь отстаиваться будет, – сердито сказал Бобров, – я ихние повадки знаю. Как увидит, что разведчик повис, – так под стенку в фиорде и там в тени отстаивается. Неделю может стоять.

Калугин не согласился с пилотом. Нынче не те времена, чтобы отстаиваться. Фюрер небось приказал поскорее везти солдат в Германию, там тоже аврал, земля горит. Нет, сейчас они отстаиваться долго не будут.

– "Букет", «Букет», я – «Ландыш», – спокойно произнес голос из репродуктора. – «Букет», я – «Ландыш». Вижу корабли противника. Буду считать. Прием, прием!

– Это Паторжинский, – сказал командующий Петрову, – у него глаза похлестче всякого бинокля. Уже увидел.

И стал жадно слушать.

По лестнице быстро поднялся Зубов, повернул к себе микрофон и официальным голосом заговорил:

– "Ландыш", я – «Букет», «Ландыш», я – «Букет», на тебя наводят истребителей противника, внимание, «Ландыш», внимание, прием, прием!

– Что там такое? – спросил командующий.

– Перехват, – сказал Зубов. – Шесть «фокке» вышли на охоту. Дежурный, воды сюда пришлите напиться!

Опять сделалось тихо. Только в репродукторе как бы кто-то дышал и даже, может быть, ругался. Потом вновь Паторжинский, назвав себя «Ландышем», заговорил: "Шесть транспортов противника и внушительный конвой". Он пересчитал их: "Четыре эсминца типа «маас», пять «охотников» и четыре тральщика".

– Давайте! – сказал командующий, взглянув на ручные часы. – Пора!

– Есть! – ответил Зубов.

Петров стоял неподвижно, навалившись руками на балюстраду вышки. Телефонист соединил и подал трубку начштабу.

– В воздух, – негромко сказал Зубов. – Желаю удачи! – И еще тише спросил: – Полковник? Давайте!

Зина принесла воды в графине и стаканы. Начштаба выпил залпом стакан, потом еще половину. И когда ставил стакан на поднос, в воздухе со стороны большого аэродрома завывли моторы.

Командующий смотрел молча, подняв кверху бронзовое в лучах вечернего солнца лицо. Синие глаза его потемнели, маленькой ладонью он постукивал по балюстраде, точно барабанил костяшками пальцев. Потом, не глядя в микрофон, сказал:

– Шестой, убрать ногу! Ногу убрать, шестой!

– Та не убирается, ну шо ты будешь делать! – ответил шестой отчаянным голосом.

Командующий улыбнулся.

– Спокойно! – сказал он в микрофон. – Спокойно, шестой!

"Нога" наконец убралась.

– Волнуется, – сказал Петров, – это Ноздраченко, знаете? Крученный парень, испугался, что на посадку обратно пошлете!

Командующий все смотрел вверх. После штурмовиков пошли бомбардировщики. Тяжелое гудение наполнило все небо, машины шли низко, над самой вышкой, точно прощаясь с командующим. Он снял фуражку, хотел положить ее на балюстраду, но промахнулся и положил мимо. Зина тотчас же подняла, отряхнула о коленку и положила на круглый столик.

Краснофлотец принес бланк с радиоперехватом: противник объявил тревогу на всем побережье. Эскадрильи группы «Викинг» и «Германия» уже пошли в воздух.

С залива потянуло холодным ветром.

В третьем перехвате было написано, что противник поднял в воздух всю группу «Норд». Одно за другим передавались сообщения с постов. Зубов сел на табуретку, вытянул ноги и замолчал.

– Нахожусь в районе цели, – опять заговорил «Ландыш», – конвой следует по своему маршруту. Имею незначительные повреждения, был обнаружен противником. Прием, прием!

– Если можете, оставайтесь в районе цели, – сказал командующий в микрофон. – Я – «Букет». Вы слышите меня, «Ландыш»? Оставайтесь в районе цели....

– "Ландыш" слышит, – ответил Паторжинский и покашлял. – «Ландыш» понял.

Опять наступила тишина. Зина громко дышала. Связист осторожно продувал трубки телефонов. Никто не говорил ни слова. И вдруг громкий, резкий, напряженный голос загремел из репродуктора:

– Вижу корабли противника! Вижу корабли противника! «Левкой», вперед, «Левкой», вперед!

– Это Сухаревич, – сказал Петров, – у него глотка болит, ангиной заболел, боялся, что

никто не услышит. Вот тебе и не услышали.

В репродукторе покашляло, потом Паторжинский сказал:

– "Букет", я – «Ландыш». Наши самолеты вышли в атаку. Противник оказывает сопротивление. Противник оказывает серьезное сопротивление. Наши истребители над конвоем. Все нормально, идет большой воздушный бой. «Букет», я горю! «Букет», я загорелся! "Букет"..

Начштаба попил воды. Командующий насупившись смотрел на репродуктор. Репродуктор молчал. Потом чей-то грубый голос крикнул из репродуктора:

– Саша, атакуй верхнего! Саша, атакуй верхнего!

И опять, как ни в чем не бывало, заговорил "Ландыш":

– "Букет", вы меня слышите? Вы меня слышите? Все нормально, я потух. «Букет», я – «Ландыш». Вышли в атаку штурмовики.

– Вот мальчик, а? – весь просияв, сказал командующий. – Ну как это вам понравится: он потух! – И сердито закричал в микрофон: – «Ландыш», следовать на клумбу, «Ландыш», следовать на клумбу немедленно. Прием, прием!

Теперь репродуктор говорил непрерывно. Сражение разворачивалось.

17

Это были голоса сражения, и Бобров слушал их жадно, почти не вникая в смысл происходящего, ничего не оценивая, думая лишь об одном: "Меня там нет. Они дерутся без меня. Они бьют врага, и погибают, и вновь бьют, а я здесь, и теперь я всегда буду здесь".

Александр Маркович в унтах и в капке, в очках, сдвинутых на кончик носа, спросил у него что-то, он не взглянул на него и не ответил. Радист приглушил звук, – он крикнул на него: "Чего ковыряетесь?" – и радист исуганно отдернул руку от регулятора.

Втроем, тесно сгрудившись головами, они стояли в душной радиорубке корабля и слушали голоса сражения, все шире разворачивающегося воздушного боя, голоса разведчиков, командиров больших машин, голоса штурмовиков, истребителей, слушали как на командном пункте и молча переглядывались.

– Хвост прикрой, – сказал в эфире грубый голос. – Не зевай, Иван Иванович!

Потом спокойно, точно па земле, низкий голос произнес:

– Подтянуться, друзья, за мною пошли ходом...

– Торпедоносцы, – прошептал Бобров. – Плотников повел.

А Плотников продолжал низким хрипловатым голосом:

– Не растягивайся, готовься, давай, друзья, давай, дорогие...

– У него на борту Курочка, – сказал Бобров, – оружие испытывает.

– Я – «Ландыш», – закричал разведчик, – я «Ландыш». «Букет», я – «Ландыш». «Маки» выходят в атаку. «Букет», «Букет», один корабль охранения взорвался. Ничего не вижу за клубами пара. «Букет», один корабль охранения взорвался. Больше его нету. Прием, прием!

В это время в рубку просунулась голова майора Воронкова. Секунду он помолчал, потом сказал сердитым голосом:

– Ну, спасатели, давайте! Командир, слушай маршрут!

Бобров повернулся к Воронкову. Рядом кто-то пробежал, мягко стуча унтами, и тотчас же заревели прогреваемые моторы. Левин, поправив очки, пролез к себе в санитарный отсек. Вода уже хлестала по иллюминатору, стекло сделалось матово-голубым, огромное тело корабля ровно и спокойно ибрировало. Военфельдшер Леднев отложил книжку и вопросительно поглядел на Левина.

– Шутки кончились, Гриша, – сказал ему подполковник, – сейчас вылетаем.

И, словно подтверждая его слова, машина два раза сильно вздрогнула и медленно поползла в сторону от пирса по гладкой воде залива.

В санитарном отсеке было жарко. Леднев снял меховушку и повесил ее на крюк. Вода грохотала под брюхом машины. Или, может быть, они уже были в воздухе?

– Все нормально, – сказал Левин, нечаянно подражая какому-то знакомому пилоту, – все совершенно нормально. Если за штурвалом сидит Бобров, значит можно быть спокойным.

Залив повернулся под крылом самолета, делающего вираж. Солнце ударило в иллюминатор. Голые скалы, кое-где поросшие красноватыми лишаями, пронеслись внизу, и вновь блеснуло море – серое и злое, холодное военное море. Стрелок поднялся по низкому трапу, долго там отсмаркивался и резко повернул турельный пулемет. Навстречу, словно черточки, в бледно-розовом свете шли самолеты, возвращающиеся из боя. А может быть, это чужие? И стрелок еще два раза повернул пулемет, на всякий случай, – бдительный старшина второй статьи, его не проведешь!

Левин вновь просунулся в рубку к радисту. Сюда нельзя было пройти или войти, можно было только просунуться. Здесь было темнее, чем в санитарном отсеке, и стоял треск и хрип, потом радист что-то сделал, и повелительный голос, такой, которому нельзя прекословить, произнес:

– Я-"Букет", я – «Букет»! Ведущий «Тюльпанов», прикройте Ильюшина, прикройте Ильюшина! Двумя «Тюльпанам» прикройте Ильюшина! Двумя «Тюльпанам» прикройте Ильюшина. «Настурция», я – "Букет"!

Радист приподнялся и вновь сел. «Настурция» был спасательный самолет. Командующий говорил с ними. И радист сделал такое лицо, как если бы он стоял перед командующим в положении "смирно".

– "Настурция", я – «Букет», – опять сказал командующий. – «Настурция», следуйте в квадрат.

И он заговорил цифрами, а Левин слушал, склонив голову к плечу; и с ужасом чувствовал, как ему под ложечку чья-то злая рука вдруг воткнула большой гвоздь и вертит его там и крутит, а он от испуга начинает дышать все короче, мельче, чаще.

Не дослушав слов командующего, он быстро вернулся к себе в санитарный отсек и, весь покрывшись холодным потом, вздрагивающими руками снял каяку, меховушку, китель и завернул рукав рубашки на левой руке, говоря при этом в самое ухо Ледневу:

– Моментально шприц и ампулу морфия, очень быстро, попроворней, слышите! Скорее, военфельдшер!

От морфия его немного оглушило, но зато боль сразу же стала утихать, или не утихать, а просто он ее уже не мог слышать, потому что самолет пошел на посадку – в серое студеное море, в волны, и было не до того, чтобы слышать собственную боль.

Вода с плеском и шипением ударила в иллюминатор. Радист и стрелок с Ледневым уже поднимались по трапу, мешая друг другу и крича что-то, затем люк открылся, и в отсек сразу ворвался запах моря, полетели белые клочки пены и сухо, с треском ударили пулеметы пронесившихся над ними истребителей. Потом самолет подбросило, словно его кто-то очень сильный толкнул снизу. Поток воды хлынул в люк, и военфельдшер закричал охрипшим голосом:

– Принимайте, подполковник, он без сознания! Огромное тело в летном комбинезоне с болтающимися проводами ларингофона съехало вниз по трапу, и палуба в отсеке сразу же залилась водою, потому что из летчика текло, как из губки. И Левин теперь, после того как оттащил летчика от трапа, тоже сделался весь мокрый, а сверху опять закричали: "Принимайте!", и он принял кого-то маленького, который страшно ругался и из которого отовсюду текла не вода, а кровь. И палуба теперь сделалась розовой. Но маленький лежать не хотел, все вскакивал и кричал, мешая Левину принимать третьего и четвертого.

Между тем самолет подбросило еще раз, и Александр Маркович понял, что это поблизости происходят взрывы, – сражение продолжалось, треск пушек и пулеметов не смолкал ни на мгновение, и тише стало, только когда задраили люк и опять заревели моторы, то есть стало даже не тише, а иначе.

Самолет вновь поднялся, и стрелок опять завертел свой пулемет, и в этот раз не только завертел, а и пострелял немного, но Левин этого не заметил, то есть заметил, но не обратил

на это никакого внимания, потому что самолет перестал быть для него самолетом, а сделался госпиталем. И как только летящая огромная машина сделалась госпиталем, Левин сразу же забыл обо всем, что не относилось к раненым. И совершенно тем же голосом, что в операционной, он накричал на Леднева, который пытался снять с маленького летчика штанину, не разрезая ее; сам схватил ножницы и разрезал и, сердито шевеля губами, долго искал умывальник, позабыв, что его здесь нет.

Потом он наложил маленькому жгут и принялся останавливать кровотечение, крича в это же время Ледневу, что большому летчику надо дать коньяку – пусть выпьет полстакана – и немедленно раздеть его догола, а тому, который сидел на палубе возле койки, надо скорее все тело обложить грелками. Военфельдшер ничего не успевал, задерганный подполковником – у него, в конце концов, было всего только две руки, – но ему стал помогать один из спасенных – тот самый, которому дали коньяку, главстаршина с черными усами, по фамилии Полещук. Он был совершенно голый, все время посмеивался и никак не мог окончательно прийти в себя, но помогал хорошо и толково – все прибрал в отсеке, а когда машина уже находилась на подходах к базе, Полещук даже приоделся в пижаму со шнурами, которая отыскалась в самолете, и попросил еще немного выпить, потому что, по его словам, с того света не каждый день возвращаешься на базу, и такое событие, как это, надобно "культурно отметить".

Спасенных приняли в катер. На пирсе их ждала уже серая «санитарка» и разгуливал Баркан, а машина опять пошла к месту сражения с новым заданием. Леднев убрал в отсеке, как в операционной после операции, а Левин жадно курил – выкурил две самокрутки и попил горячего крепкого чая из термоса.

В этот раз они искали долго, низко ходили над водою, а над ними патрулировали два истребителя, которых прислал командующий. Море плескалось внизу совсем серое, злое, с мелкими белыми барашками, и видимость сделалась плохой, а потом и истребители ушли – у них кончилось горючее, – а Бобров все ходил и ходил над заданными квадратами, все искал и искал, щуря уставшие, слезящиеся глаза, и наконец нашел.

– Порядок! – сказал он сам себе и положил машину в вираж.

Крошечная шлюпка пронеслась под плоскостями самолета, и люди в ней дико закричали и выстрелили из ракетницы. Зеленая ракета, описав дугу и рассыпавшись, исчезла сзади.

– Порядок! – повторил Бобров и выровнял машину, чтобы идти на посадку.

Шлюпка пронеслась близко и вновь исчезла.

Внезапно и резко стемнело. Крупные, мягкие хлопья снега стали облеплять плексиглас перед Бобровым. Брызги воды тотчас же смыли снег. Машина села.

– Принимайте, товарищ подполковник! – опять закричал военфельдшер, и Левин принял своими длинными руками растерянно улыбающегося летчика. Потом он принял еще двоих. Один трясся и стонал. Ему Левин впрыснул морфию, двум другим дал чаю с коньяком и вернулся к первому. Между тем Бобров не взлетел, машина шла по воде, словно катер.

Через несколько минут, гудя как шмель, прилетел разведчик и выпустил красную ракету. Бобров развернул машину и опять поехал по воде.

– Шли бы скорее на базу, – сказал Леднев, – вон заряды начались, снегопад будет.

– Когда Бобров за штурвалом, – сказал Левин, – это лучше, чем в Ташкенте. Полное спокойствие. Дайте-ка сюда зонд и не болтайте лишнего.

Штурман закричал.

– Не кричите, дорогой дружок, – сказал Левин, – у вас осколок торчит почти снаружи. Вы проживете сто пятьдесят лет, и каждый день со стыдом будете вспоминать этот ваш крик.

Стрелок вновь отдраил верхний люк и спустился к воде по наружному трапу. Крупные хлопья снега сразу залепили ему лицо. Некрутая, но сильная волна с мягким шелестом шла по борту самолета. Механик сверху пробежал к хвосту, балансируя сбросил трос, закричал стрелку:

– Вира помалу! Степан! Вира-а!

Леднев высунулся из люка по пояс наружу и вдруг сообщил вниз шепотом, точно тайну:

– Немца из воды вынули, честное слово, не верите? Ну, фрица, фрица!

Первых его слов никто не расслышал, но все, кроме раненого, подняли головы кверху. Военфельдшер вылез наружу. Прошло еще несколько мгновений, и сверху полилась вода. Потом показались ноги, с которых лились струйки воды. Потом немец с тонким лицом молча вытянулся перед Левиным.

На немце была раздувшаяся капка, желтый, почерневший от воды шлем и пистолет, висевший только на шнуре ниже колена. Механик обрезал шнур перочинным ножом и положил пистолет себе за пазуху. Моторы уже выли, забирая высокую ноту, как всегда перед взлетом.

– Sind Sie verwundet?¹ – спросил Александр Маркович очень громко.

Летчик что-то пробурчал.

– Wie fühlen Sie sich? – еще громче произнес Левин. – Verstehen Sie mich? Ich frage, wie Sie sich fühlen? Sind Sie nicht verwundet?²

Летчик все смотрел на Левина. "Может быть, этот человек – душевнобольной, – подумал Александр Маркович, – может быть, психическая травма?"

И он протянул руку, чтобы посчитать пульс, но немец отпрянул и сказал, что не желает никаких услуг от "юде".

– Что? – сам краснея, спросил Левин. Он знал, что сказал этот человек, он слышал все от слова до слова, но не мог поверить. За годы существования советской власти он забыл это проклятье, ему только в кошмарах виделось, как давят "масло из жиденка", – он был подполковником Красной Армии, и вот это плюгавое существо вновь напомнило ему те отвратительные погромные времена.

– Что он сказал? – спросил Левина военфельдшер.

– Так, вздор! – отворачиваясь от немца, ответил Александр Маркович.

Рот летчика дрожал. Поискав глазами, он нашел себе место на палубе у трапа и сел, боясь, что его вдруг убьют. Но никто не собирался его убивать, на него только смотрели – как он сел, и как он выпил воды, и как он стал снимать с себя мокрую одежду.

Ему дали коньяку, он выпил и пододвинул к себе все свободные грелки. Он не мог согреться и не мог оторвать взгляд от крупнотелого, белолицего русского летчика, который внимательно, спокойно и серьезно разглядывал своего соседа, изредка вздрагивая от боли.

– Товарищ военврач! – позвал крупнотелый. Левин наклонился к нему.

– Мы в школе учили немецкий, – сказал летчик. – Язык Маркса и Гете, Шиллера и Гейне – так нам говорила наша Анна Карловна. Я понял, что он вам... высказал, этот... гад. Но только вы не обижайтесь, товарищ военврач. Черт с ним, с этим паразитом. Вспомните Короленку и Максима Горького. как они боролись с этой подлостью. И еще вам скажу – будем знакомы, старший лейтенант Шилов...:

Он с трудом поднял руку. Левин пожал его ладонь.

– Я так предполагаю, что вам надо забыть эту обиду. Начихать и забыть. Вот таким путем... Видите.– смотрит на меня. Боится, что я его пристрелю. Нет, не буду стрелять, обстановка не та.

Облизав пересохшие губы, он медленно повернулся к нему и не без труда начал складывать немецкие фразы, перемежая их русскими словами:

– Ты об этом Jude vergessen! Verstanden? Immer... Auf immer... На веки вечные. Er ist... für dich Herr доктор. Verstanden? Herr подполковник! Und wirst sagen das... noch, werde

¹ Вы ранены?

² Как вы себя чувствуете?.. Вам понятно: я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Вы не ранены?

schiessen dich im госпиталь, – пристрелю, дерьмо собачье! Das sage ich dir – ich, лейтенант Шилов Петр Семенович. Verstanden?³ Ясная картина?

– Ja. Ich habe verstanden. Ich habe es gut verstanden!⁴ – едва шевеля губами, ответил немец.

Шилова положили в пятаю, немцу отвели отдельную – восьмую. Ночью у него сделалось обильное кровотечение.

От Шилова и Анжелика, и Лора, и Вера, и Варварушкина, и Жакомбай знали, как в самолете фашист обозвал подполковника. Рассказали об этом и Баркану.

Сердито хмурясь, он вошел в восьмую, где лежал пленный.

– Ich verblute, – негромко, со страхом в голосе заговорил лейтенант Курт Штуде. – Ich bitte um sofortige Hilfe. Meine Blutgruppe ist hier angegeben. – Он указал на браслет. – Aber ich bitte Sie aufs dringlichste, Herr Doktor, – Ihr Gesicht sagt mir, dass Sie ein Slave sind, – ich flehe Sie an: wenn Bluttransfusion notwendig ist... dass nur kein jiidisches Blut...⁵

Вячеслав Викторович Баркан строго смотрел на немца.

– Verstehen Sie mich? – спросил лейтенант Штуде. – Es geht um mein kiinftiges Schicksal, um meine Laufbahn, schliesslich um mein Leben. Keineswegs judisches Blut...⁶

Баркан насупился.

– Haben Sie mich verstanden, Herr Doktor?⁷

– Ja, ich habe Sie verstanden! – сильным голосом ответил Баркан. – Aber wir haben jetzt nur judisches Blut. So sind die Umstände. Und ohne Transfusion sind Sie verloren ...⁸

Летчик молчал.

Баркан смотрел жестко, пристально и твердо. Он в первый раз в жизни видел настоящего фашиста: господи, как это постыдно, глупо, как это дико, как это нелепо. Как будто можно разделить кровь на славянскую, арийскую, иудейскую. И это середина двадцатого века...

– Ich hoffe, dass solche Einzelheiten in meinem Kriegsgefangenenbuch nicht verzeichnet werden. Das heisst, die Blutgruppe meinerwegen, aber nicht, dass es judisches..⁹

– Ich werde mir das Vergniigen machen, alle Einzelheiten zu verzeichnen! – произнес Баркан. – Ich werde alles genau angeben.¹⁰

³ Ты об этом «юде» забудь! Понял? Всегда... Навсегда... Он... для тебя господин доктор. Понял? Господин подполковник! А если ты скажешь это... еще раз, я застрелю тебя в госпитале... Это говорю я тебе – я... Понял?

⁴ Да. Я понял. Я хорошо понял!

⁵ Я истекаю кровью... Я прошу оказать мне экстренную помощь. Моя группа крови вот тут указана... Но я убедительно прошу вас, господин доктор, по вашему лицу я вижу, что вы славянин, я умоляю вас: если понадобится переливание – только не иудейскую кровь.

⁶ Вы понимаете меня?... Речь идет о моей будущей судьбе, о моей карьере, о моей жизни наконец. Ни в коем случае не иудейскую кровь...

⁷ Вы поняли меня, господин доктор?

⁸ Да, понял!.. Но мы имеем сейчас только иудейскую кровь. Таково положение дел. А без переливания вы погибнете...

⁹ Надеюсь, что такого рода подробности не будут записаны в мою книжку военнопленного. Ну, группа крови – пусть, а вот это... иудейская...

¹⁰ Я доставлю себе удовольствие записать все подробности!.. Я запишу все решительно.

– Aber warum denn, Herr Doktor? Sie sind doch ein Slave..¹¹
– Ich bin ein Slave, und mir sind verhasst alle Rassisten. Verstehen Sie mich? – спросил Баркан. – Mir sind verhasst alle Antisemiten, Deutschhasser, mir sind verhasst Leute, die die Neger lynchen, sind verhasst alle Obskuranten. Aber das sind unnutze Worte. Was haben Sie beschlossen mit der Bluttransfusion?¹²

– Ich unterwerfe mich der Gewalt!¹³ – сказал летчик и сложил губы бантиком.
– Nein, so geht es nicht. Bitten Sie uns um Transfusion beliebigen Blutes, oder bitten Sie nicht?¹⁴

– Dann bin ich gezwungen darum zu bitten.¹⁵
Баркан вышел из палаты. В коридоре он сказал Анжелике:
– Этому подлецу нужно перелить кровь. Если он поинтересуется, какая это кровь, скажите – иудейская.

Анжелика вопросительно подняла брови. – Да, да, иудейская, – повторил Баркан. – Я в здравом уме и твердой памяти, но это сбавит ему спеси раз и навсегда.

– Вы сделали эту штуку ради Александра Марковича! – басом воскликнула Анжелика. – Да, не отрицайте. Это великолепно, Вячеслав Викторович, это чудесно. Вы – прелесть. Я в восторге.

– Очень рад! – буркнул Баркан.

* * *

В ординаторскую к Левину ночью пришел Бобров.
– Машина Плотникова не вернулась с задания, – сказал он, – экипаж погиб, и Курочка наш тоже.

–: Не может быть! – сказал Александр Маркович.

Лицо его посерело.

Бобров рассказал подробности, какие знал. Многие летчики видели пылающую машину. Выпрыгнуть никто не успел. Но транспорт они все-таки торпедировали, и не маленький – тысяч десять тонн, не меньше.

На столе позвонил телефон. Сдержанный голос предупредил:

– Подполковник Левин? Сейчас с вами будет говорить командующий.

– Подполковник Левин слушает, – сказал Александр Маркович.

По щеке его поползла слеза, он стыдливо утер ее рукавом халата и опять сказал:

– Подполковник Левин у телефона.

В трубке сипело и шелкало. Потом командующий покашлял и очень усталым голосом произнес:

– Поздравляю вас, подполковник. Вы и ваш пилот Бобров награждены орденами Отечественной войны первой степени. Большое дело сделали, большое.

Левин молчал. Еще одна слеза выкатилась из-под очков.

¹¹ Но почему, господин доктор? Ведь вы же славянин

¹² Я славянин, и я ненавижу расистов. Понимаете меня?.. Я ненавижу антисемитоз, германофобов, ненавижу тех, кто линчует негров, ненавижу мракобесов. Впрочем, это ненужные слова. Что вы решили насчет переливания крови?

¹³ Я подчиняюсь насилию!

¹⁴ Нет, так не пройдет. Вы просите нас перелить любую кровь или не просите?

¹⁵ В таком случае я вынужден об этом просить.

– Н-да, – сказал командующий, – ну что ж! Спокойной ночи!

– Благодарю вас, – ответил Левин и, быстро повесив трубку, отвернулся. Бобров смотрел на него, а ему не хотелось, чтобы летчик видел его слабым и плачущим.

Они долго молчали, потом Александр Маркович сходил к себе и принес книжку, которую давеча читал Леднев. Это была "Война и мир". На переплете, очень затрепанном и очень грязном, растеклось большое чернильное пятно.

– Ваша книжка? – спросил он Боброва.

Глаза пилота жадно вспыхнули.

– Вот за это спасибо, – сказал он, – большое спасибо. Вот, действительно, порадовали так порадовали. Я теперь библиотекарше Марии Сергеевне отвечу, какой я нечестный человек. Вчера открытку прислала, вы – пишете – элементарно нечестный человек. Ну, отдыхайте, Александр Маркович, устали сегодня, я полагаю.

– Устал, – виновато согласился Левин, – очень устал.

Но Бобров не ушел сразу, еще посидел немного, рассказал, чем кончилось сражение. Фашистский караван, в общем, разгромлен. Потоплены четыре транспорта, большая баржа с солдатами, два корабля охранения.

Левин все утирал слезы рукой.

18

Полковники медицинской службы Тимохин и Лукашевич собирались лететь в Москву, а погоды не было, и потому они заночевали у Левина. Это всегда так было, что доктора из главной базы ночевали у Александра Марковича. Никто не мог сказать, что Левин особенно хорошо кормит или угощает добрым ликером, сваренным из казенного спирта, или играет в преферанс, или ловко и безотказно достает места в транспортную машину. Нет, ничего этого и в помине не было. Просто был сам Левин со своей сконфуженно-доброй улыбкой и таким душевным, таким открытым и робко-настойчивым гостеприимством, что к нему никак нельзя было не заехать, тем более что и Анжелика, и Ольга Ивановна, и Лора, и Вера, и даже Жакомбай – все всегда радовались гостям и всегда при виде гостя вскрикивали и говорили:

– Вот Александр Маркович обрадуется!

А Жакомбай, вежливо улыбаясь, брал на руку шинель или реглан гостя и сообщал:

– Пока вы отдохнете, отремонтируем немного. У нас краснофлотец имеется – Цуриков некто, – бесподобно обмундирование ремонтирует. Будет шинелька как новенькая. И китель отпарим, новые вещи получите.

Жакомбай ведал у Левина сохранением обмундирования находящихся на излечении людей и сохранял вещи так, что многие вылечившиеся писали благодарственные письма в редакцию, и у Жакомбая было уже три вырезки под названиями: "Чуткий старшина", "Наша благодарность" и "Простой советский человек".

Кроме того, проезжающие и пролетающие доктора останавливались у Александра Марковича еще по одной причине, о которой никогда не говорилось, но которую приятно было сознавать: Левин обязательно советовался с любым флагманским специалистом насчет своих раненых, рассказывал, как проходила у каждого операция, как двигается послеоперационное лечение, делился своими опасениями и с интересом выслушивал советы. Он долго водил докторов по палатам, показывал им то одного раненого, то другого, заходил с ними в перевязочную, настойчиво выпрашивал гостя, а потом брал его за локоть и извинялся, называя такие обходы "маленькой пользой". Без "маленькой пользы" никто не ложился спать в ординаторской Левина, без "маленькой пользы" не начинался ни один житейский разговор, без "маленькой пользы" никто не получал своего скромного ужина, именуемого на интендантском языке литером "4-Б".

Кроме того, каждый, кто приезжал из Москвы, должен был рассказать Левину обо всем новом, что они узнали там из области хирургии, а едущие в Москву должны были взять у Левина поручения насчет того, что им следовало узнать у московских светил.

Полковник Тимохин был человек тучный, с короткими седыми усами и с очень суровым взглядом маленьких темных глаз, выражение которых теплело только тогда, когда Тимохин занимался своим прямым делом. Полковник Лукашевич был еще больше Тимохина, но только весь состоял из костей и черных жестких волос.

Отработав положенную законами левинского гостеприимства "маленькую пользу", которая на этот раз состояла в том, что Тимохин – специалист по хирургии желудка–прооперировал назначенного на завтра сержанта, а Лукашевич – специалист по челюстно-лицевым ранениям – решил в отрицательном смысле вопрос об операбельности одного из левинских пациентов, – оба гостя и хозяин сошлись в ординаторской, где уже был сервирован ужин на троих: селедочный форшмак, очень желтая пшенная каша и розовый искусственный кисель. Александру Марковичу отдельно стояла манная каша и на салфеточке лежали два сухарика. Рюмок тоже было только две – для гостей.

За столом разговор шел на тему, начатую еще перед обходом госпиталя, – об обработке тяжелых ранений конечностей под общим обезболиванием. Эта тема была для Левина неиссякаемой, он много раздумывал на этот счет и, если ему возражали, так сердился и расстраивался, так потрясал тетрадь со своими записями, что любой оппонент сдавался довольно скоро.

Но сейчас Левину никто не возражал. Наоборот, оба гостя были с ним согласны, и, подвигая к себе графинчик, Лукашевич даже сказал:

– Это все очень интересно и значительно, Александр Маркович, да и вообще об этом нынче многие хирурги поговаривают. Сам Харламов недавно выражал такую мысль, что ваша теория нуждается в широком применении на практике и что он с интересом следит за вашей работой. Так что выпьем за ваш научный темперамент и за будущее обработки под общим обезболиванием.

Выпили и налили по второй. Необычайно красиво намазывая на корочку форшмак, полковник Тимохин незаметно, как делают, вероятно, заговорщики, мигнул Лукашевичу и сказал:

– Вот поужинаем, Александр Маркович, и поговорим наконец про ваши хворобы. Что-то не «ндравится» мне ваш цвет лица, да и общее ваше похудание не "ндравится".

И, подняв рюмку двумя пальцами, Тимохин опрокинул ее в большой зубастый рот.

– Да, уж возьмемся за вас, – сказал Лукашевич, – берегитесь. Сейчас вы, конечно, здоровенький, а как в лапы к нам попадетесь, тогда и случится то самое, о чем говорил Плиний. Помните, у него где-то в сочинениях приводится надпись на могильном камне: "Он умер от замешательства врачей". Недавно Харламов рассказывал, что один больной несколько лет тому назад пожаловался: "У меня не такое железное здоровье, чтобы лечиться у докторов целых три недели".

После ужина гости долго пили чай с клюквенным экстрактом и задавали Левину наводящие вопросы, переглядываясь порою с тем особым выражением, с которым врачи на консилиумах подтверждают друг другу свои предположения.

– Э, вздор, – сказал Левин, – не будем тратить время на пустяки. У меня вульгарная язва, и давайте на ней остановимся. Оперироваться я не буду, мне некогда, и, главное, вы же сами знаете, что с такой язвой можно погодить.

– Завтра мы поведем вас на рентген, – строго сказал Тимохин, – и тогда решим: оперироваться вам или нет. А нынче поздно, спать пора.

– Рентген не рентген, – сказал Левин, – кому все это интересно? Спокойной ночи, дорогие гости.

Он вышел, плотно притворив за собой дверь, а Тимохин сел на низкую кровать-переноску и стал, кряхтя, расшнуровывать ботинок. Лукашевичу постелили на диване.

Расшнуровав ботинок на левой ноге и отдышавшись, Тимохин спросил:

– Труба дело?

– Вероятнее всего, что да, Семен Иванович, – сказал Лукашевич, – на мой взгляд,

картинка довольно хрестоматийная. Мне, между прочим, кажется, что он и сам все понимает. А?

– Понимает, но не до конца. Нет такого человека, который мог бы понять это до конца. Про другого можно, про самого себя трудно.

И Тимохин вздохнул, вспомнив собственную электрокардиограмму.

– Нет, он, пожалуй, понимает, – возразил Лукашевич. – И потому, быть может, так странно ведет себя. Он невероятно энергичен сейчас, – вы слышали об этом?

– Да, об этом поговаривают, – ответил Тимохин, стаскивая с маленькой и толстой ноги второй ботинок, – он будто бы на спасательном самолете сам летает и еще какой-то костюм испытывает.

– Жалко Левина, – сказал Лукашевич. – Глупые слова, а жалко.

– Так ведь что поделаться! – ответил Тимохин, все еще думая о кардиограмме и прислушиваясь к собственному сердцу. – Тут ведь дело такое – никуда не убежишь. Все там будем.

Он покряхтел, лег и, опершись на локоть, стал сворачивать самокрутку.

С полчаса оба полковника молчали.

– Да, вот вам и вопрос о смысле жизни, – вдруг заговорил Тимохин. – Помню, я все студентом искал ответа, – «Анатема» тогда шла в Художественном театре, непонятно было, но спорили. Какие только слова не произносились, господи боже мой! А на поверку-то оно вот как получается, если по жизни судить, по живой жизни, свидетелями и участниками которой нам пришлось быть. На поверку жить по-человечески надо, только и всего. Вы не спите еще, Алексей Петрович?

Лукашевич ответил, что не спит.

– Да уж что там... Засыпаете, – сказал Тимохин. – Ладно, спите. Выспимся, а завтра за него возьмемся. Может быть, еще и обойдется? А?

– Нет, не думаю, – тихо ответил Лукашевич.

– Лицо?

– Да уж лицо типическое. Лицо для демонстрации студентам... Ну, спокойной ночи.

И Лукашевич так повернулся на диване, что пружины сначала затрещали, а потом вдруг диван сразу сделался ниже и шире.

Когда все кончилось, они втроем – Тимохин, Лукашевич и Левин – сели в ординаторской вокруг письменного стола. Часы пробили два. Больше молчать было неммыслимо.

Но и говорить тоже было очень трудно.

– И так? – спросил Левин. Лукашевич взглянул на него и отвернулся. Тимохин кряхтел.

– Я не ребенок, – сказал Александр Маркович, – и не барышня. Я – старый врач, мои дорогие друзья, у меня есть некоторый жизненный и врачебный опыт.

Может быть, со мною стоит разговаривать совершенно откровенно?

Тимохин еще раз крякнул. Лукашевич все покачивал ногою.

– Мы настаиваем на операции, – сурово взглянув на Левина, сказал Тимохин. – Мы не видим причин отказываться от операции. Кроме того, нам кажется, Александр Маркович, что, отказываясь от операции, вы некоторым образом уподобляетесь тому старорежимному фельдшеру, который был искренне уверен в том, что никакого пульса вообще нет.

Левин снял очки, протер их и невесело улыбнулся: было видно, как дрожат его руки. И Тимохин и Лукашевич тоже смотрели на его руки. Левин быстро надел очки и спрятал руки под стол. Дрожь постепенно прошла. И холод в спине тоже прошел. В сущности, перед ними он мог быть откровенен, он мог не скрывать, как вдруг ему стало страшно, и какая-то черта отделила его от всех тех, у которых есть будущее. В эти минуты у него не стало будущего. Пусть они потерпят немного, он соберется с силами. А пока они все немного помолчат.

И они молчали. Они не говорили вздора, не лезли в душу, не хлопали по спине. Лукашевич заинтересовался картой, переставил два флажка вперед, поближе к Берлину. Тимохин мелко писал в записной книжке. Потом, пока Левин ходил как бы по делу к себе в

отделение, Тимохин вызвал главную базу и, закрывая трубку рукою, сказал Харламову:

– Да, именно так. Нет, рентгенограмма совершенно подтверждает. Ясный дефект заполнения. Очень бы хотелось. Сразу после моего возвращения. Состояние? Ну какое может быть у врача состояние? Разумеется, скверное. Да, это возможно. Пройдет некоторое время, и потребность жить и верить победит. Абсолютно...

В это время вошел Левин. Тимохин скосил на него один глаз и круто перевел разговор с Харламовым на московские дела.

Принесли обед. К этому времени Левин уже собрался с силами. Только изредка он отвечал не вполне точно. Руки у него больше не дрожали, выражение лица стало твердым, а когда Лукашевич осторожно сострил, он улыбнулся.

За сладким позвонил телефон. Оперативный вежливый голос сообщил: через два часа самолет уходит на Москву, места для профессоров имеются.

– Я вас отправлю в «санитарку», – сказал Левин, – вы ничего не будете иметь против?

Полковники ничего не имели против. Лукашевич, страстный любитель живописи, уже рассказывал Тимохину о судьбе некоторых полотен. О картинах он говорил, прижимая обе руки к сердцу, словно дурной актер, но голос у него вздрагивал и в глазах было умоляющее выражение.

– Знаменитая композиция Тулуз-Лотрека, знаете, с «Обжорой», – рассказывал он, – когда художник умер, стала ходить буквально по рукам. Один кретин-покупатель разрезал ее на кусочки – думал, что так легче и выгоднее будет ее продать. Боже мой, боже мой, нигде людская тупость, свинство и подлость буржуазного общества так не видны, как в истории живописи. Вот вы усмехаетесь, а я говорю на основании неопровержимых фактов: когда Гоген возвратился с Таити и предложил в дар, бесплатно, ну просто в подарок Люксембургскому музею свою "Девственницу с ребенком" – музей отказался. Представляете? Просто отказался...

– Да вы не горячитесь! – сказал Тимохин морщась, но было видно, что и ему слушать Лукашевича тяжело и трудно.

А Лукашевич говорил о том, что когда читаешь историю живописи, то может показаться, будто все в ней происходило разумно, но это совсем не так: история живописи – это история мучений гениев, которых не признавали при жизни, это история унижений, отчаяния, мужества, история торжествующей пошлости и властвующих дураков.

– Ведь этому поверить невозможно, – жаловался он, и в глазах его виделось отчаяние, – ведь это просто невозможно. Один коллекционер умирал и завещал тому же Люксембургскому музею семнадцать полотен – все самое милое его сердцу, так? И, можете себе представить, этот музей отказался от картин Ренуара, Сислея, Сезанна, Мане. Они не взяли, эти подлецы, это им не подошло.

– Если покопаться в истории науки, то там немало эпизодов в этом же духе, перебил Левин. – Власть имущие и воображающие себя знатоками всех ценностей, созданных человеческим умом, очень любят что-либо запрещать или, наоборот, награждать за несуществующие открытия. Помните, как Николай Первый ввел повсюду атомистические аптечки жулика Мандта, и если бы не смерть царя Палкина, эти аптечки в приказном порядке попали бы защитникам Севастополя...

– Они и попали туда, – подтвердил Тимохин, – только поздно, после смерти Николая. Об этом, кажется, написано у Пирогова.

Он посмотрел на часы и поднялся. Встал и Лукашевич. Александр Маркович проводил их до машины и пожелал им счастливого пути. И у Тимохина и у Лукашевича было что-то настороженное в лицах, они ждали еще вопросов Левина по поводу будущей операции, но вопросов больше не было.

Они ждали до того мгновения, пока Левин снаружи не захлопнул дверцу. И только тогда переглянулись. «Санитарка», покачиваясь и скрипя, мчалась к аэродрому.

– Ну что? – спросил Лукашевич. – Вы знаете, он даже слушал то, что я говорил о живописи...

– Да, я заметил, – блеснув глазами в полутьме машины, ответил Тимохин. – Просто блистательно. В эти же мгновения люди просто теряют лицо, понимаете?

– Угу! – сказал Лукашевич и спросил: – А что Харламов?

Тимохин не ответил, задумавшись. И молчал до самого аэродрома. Только в самолете, когда уже заревели винты, крикнул в ухо Лукашевичу:

– Вернемся и будем его оперировать. Непременно.

– Обязательно! – согласился Лукашевич.

Санитарная машина с полковниками ушла, и Левин вернулся в госпиталь. Все спокойнее и спокойнее делалось ему на сердце. В сущности, он и раньше предполагал об этом диагнозе и думал о нем. Ничего неожиданного не произошло. Просто его предположения подтвердились. Случилось то, что он предполагал. Проклятая тяжесть под ложечкой, отвратительное ощущение постороннего тела в желудке – вот что оно такое. И опять, как давеча перед обедом, ему стало страшно до того, что потемнело в глазах. Он остановился в коридоре: да, страх. Не смерть, а страх ее – вот с чем ему надобно сейчас воевать. Страх близкой и неотвратимой смерти – вот что омерзительно. Гнусная сосредоточенность на мысли о смерти – вот что надвигается на него. Одиночество перед лицом смерти. Пустота за нею. Лопух, который из него вырастет, он где-то читал об этом, и в студенческие годы они часто кричали о лопухе и еще о чем-то в этом роде. Ах, как они кричали и спорили, и как далеко от них была сама смерть, как не понимали они все, что она такое. Что же делать?

Он все еще стоял в коридоре.

Жакомбай смотрел па него.

Анжелика понесла какую-то пробирку, заткнутую ватой, и тоже взглянула на него.

Ольга Ивановна спросила насчет глюкозы, он кивнул головой.

И тотчас же испугался по-настоящему первый раз за этот день.

Он ответил Ольге Ивановне на вопрос, который не мог повторить. Он кивнул, не зная для чего. Он начал бессмысленную жизнь, думая, что он нужен тут, в своем отделении, своим раненым, своим сослуживцам. А он, такой, никому не нужен. Живя так, он уже не существует.

– Ольга Ивановна! – крикнул он.

Она обернулась. Он догнал ее в испуге, в поту, улыбаясь своей виноватой улыбкой.

И положил большую ладонь на ее локоть.

– Да? – спросила она.

Александр Маркович все смотрел на нее. Сама жизнь была перед ним: и эти блестящие глаза, полные заботы и мысли, и розовая щека, и волосы, выбившиеся из-под белой шапочки, и поза, выражающая движение, и то, как она смотрела на него – немного удивленно, и весело, и светло, думая по-прежнему о чем-то своем.

– Ольга Ивановна, – повторил он, – простите меня, пожалуйста, но я прослушал ваш вопрос насчет глюкозы. Кому вы хотите ввести глюкозу?

Она ответила коротко, деловито и нисколько ничему не удивилась.

– Так, так, – сказал он, – ну, правильно. Отлично, делайте.

И пошел к себе, чтобы сосредоточиться, но сосредоточиться ему не удалось: привезли раненых с полуострова, среди них были обмороженные, его позвали в приемник. Потом вместе со старшиной он отправился к рентгенологу и долго рассматривал разбитые осколком кости голени. А бледный старшина рассказывал, как его ранили, и как до этого он достал «языка», и как не удавалось достать, и как капитан сказал, что надо непременно, и как тогда уж старшина «сделал языка, гори он огнем». И было видно, что старшина Веденеев доволен и им довольны, а нога – это вздор, потому что, как выразился старшина, «есть в жизни вещи поважнее, верно, товарищ подполковник?». Веденееву нужно было рассказывать и хотелось, чтобы его слушали, он был в возбужденном состоянии, и это возбуждение постепенно передалось Левину, заразило его, разговор с Тимохиным и Лукашевичем словно бы подернулся дымкой, отдалился в прошлое, а сейчас осталось одно только настоящее, в

котором каждая секунда занята и некогда даже выпить стакан чаю, надо только приказывать, распоряжаться, соображать, прикидывать, взвешивать, обдумывать.

Вечером, собрав своих на совещание в ординаторской, он вдруг увидел, как все они на него смотрят, и сразу же вспомнил шлюпку на заливе, себя самого в воде и глаза матросов сверху – как они следили за каждым его движением и как готовы были ему помочь. Это мгновенное воспоминание необычайно обрадовало его и успокоило настолько, что, оставшись один, он не испугался больше одиночества, а только вздохнул, закурил папироску и с удовольствием лег на своем диване.

"Ну да, – подумал он, – ну да, я решил. Это и есть наилучший выход и для них и, конечно, для меня. Я опытнее, чем Баркан, я нужнее здесь, чем он, мой долг остаться тут и дожить свою жизнь так, как это подсказывает мне мое сердце. Я не буду жить на коленях. Я умру стоя, и тогда, быть может, даже не замечу, как умру".

Но думая так, он ужаснулся. С отвратительной ясностью представилась ему смерть. Его больше никто никогда не позовет. За этим столом будет сидеть другой человек. Он не поедет в Москву, он вообще никуда не поедет, его не будет, он исчезнет, он ничего не узнает; все они, его нынешние собеседники, будут существовать, а он нет.

– Немыслимо! – сказал Левин.

– Что? – спросил кто-то в сумерках.

– Это вы, Анжелика? – ровным голосом осведомился он.

Она повернула выключатель. За нею, прижавшись к самой двери, стояла Верочка.

– Что-нибудь случилось? – спросил Левин. – Нет? Так идите себе, друзья, я вас вызову, если вы мне понадобится.

Верочка ушла. Анжелика продолжала стоять на месте.

– Ну? – спросил Левин.

Она не двигалась. Тогда он поднялся со своего стула, снял с гвоздя халат и отправился на кухню. Анжелика шла за ним, глотая слезы. На половине пути она свернула в боковой коридорчик, потому что он мог оглянуться и увидеть, как она плачет. В этом коридорчике, возле двери в перевязочную, стояла Верочка. Она обняла Анжелику за плечи, и обе они быстрыми косыми шагами пошли в бельевую, чтобы там все сказать друг другу и выплакаться раз навсегда.

Доктор Левин между тем сел в кухне за столик и пригласил кока Онуфрия Гавриловича присесть тоже. Кок присел осторожно на край табуретки.

– Вы сами, Онуфрий Гаврилович, кушаете какую норму? – спросил подполковник.

Кок ответил, что он кушает такую норму, которая ему положена соответствующим циркуляром. Впрочем, он вообще кушает до чрезвычайности мало. У него нет никакого аппетита, и он пьет только много чаю. Он даже хотел посоветоваться – может, оно от сердца? Потому что у него бывает так, что подкатывает вот сюда и потом не продохнуть.

– И вы даже не можете снять пробу с того, что вы готовите? – спросил Левин. – Или, может быть, вы просто забываете снимать пробу?

– Каждому на вкус все равно угодить нет никакой возможности, – ответил кок, – попрошу вас войти в мое положение, товарищ подполковник...

– А если я вам дам трое суток гауптвахты? – спросил Левин, выслушав Онуфрия Гавриловича. – Всего трое суток? Как вы на это посмотрите?

Кок поднялся. Длинное морщинистое лицо его пошло красными пятнами.

Я вольнонаемный, – сказал он, не глядя на Ленина. Ни у кого нет такого права, чтобы вольнонаемного человека на гауптвахту сажать.

Александр Маркович забыл об этом. Да и вообще он никогда еще никого не сажал. Он только грозился и знал, что есть такой способ воздействия – "гауптвахта".

– Вот как? – спросил он растерянно.

Онуфрий молчал.

– А если я вас отдам под суд за отвратительную работу?

Онуфрий подергал длинным носом и ничего не ответил.

– Во всяком случае, я найду, как на вас воздействовать, – крикнул Левин, – это дело техники, понимаете? Извольте запомнить. Если завтра вы сварите такие же помои, как сегодня, я вас накажу, чтобы никому не было повадно безобразничать в моем отделении.

Их кухни он пошел в аптеку, потом в лабораторию. Капитан медицинской службы Розочкин встретил подполковника испуганно. Ему пришло в голову, что Левин будет с ним разговаривать по поводу своего желудочного сока, но подполковник вовсе об этом не говорил. Он долго молча вглядывался в Розочкина, в его вежливо-напряженное лицо, в его прозрачные продолговатые глаза и о чем-то думал. Потом сказал:

– Плохо у вас, Розочкин!

Капитан поморгал длинными девичьими ресницами.

– Вы мне не подчинены, – говорил Левин, – у вас другое начальство, но я вам не могу это не сказать: плохо у вас, отвратительно, до чего плохо. Ведь для того чтобы взять желудочный сок, человека не кормят, а вы его голодного держите тут черт знает сколько времени. И работаете вы вяло, на лице у вас скука, с людьми вы разговариваете кислым голосом, очень нехорошо, капитан, отвратительно. Я не о себе, со мной вы все выполнили быстро, а вот с солдатами, с офицерами вы не слишком церемонитесь. А ведь они вас уважают, вы для них наука, они вас никогда не поторопят, потому что верят вашему халату, вашему лицу значительному. Ну что вы моргаете? Я к вам теперь буду навещать часто и, если все у вас в корне не изменится, напишу рапорт. Вот, предупреждаю.

Он поднялся и ушел к себе. В ординаторской было жарко, сухо пощелкивали трубы водяного отопления, потом в них вдруг что-то начинало петь. Левин сел на диван, развернул газету. То главное, что сегодня определилось, вновь возникло рядом с ним, но он не позволил себе сосредоточиться на этом, и оно исчезло так же быстро, как и появилось. Впрочем, этому, наверное, помог аптекарь, который пришел извиняться. А сразу же за аптекарем пришла Варварушкина, и уже стало некогда до тех пор, пока он не устал и не захотел спать. Перед сном он вышел прогуляться.

Болей в этот вечер и в эту ночь не было.

Впрочем, может быть, они и были – он принял на ночь большую дозу люминала и уснул как убитый.

Дорогие Наталия Федоровна и Николай Иванович!

Всей душой присоединяюсь к вашей утрате и вашей боли, всей душой с вами в эти невыразимо тяжелые дни. Не нахожу слов, которыми можно было бы вас утешить и не пытаюсь этого делать. Виктор был прекрасным юношей с широко открытым для всех сердцем, Виктор погиб как герой на своем посту солдата, идущего к победе.

Пересылаю вам его письма ко мне. Как отражается в них его прекрасный дух!

Желаю вам мужества и душевных сил. Тысячи Викторов нуждаются в твердости вашего духа, мои дорогие коллеги Наталия Федоровна и Николай Иванович. Жизни тысячи юношей вверены Вашим знаниям и ясности Вашего ума, Николай Иванович. Мы не имеем права падать духом, мы не имеем права отдаться личному горю, мы не имеем права не работать. Поверьте, я не читаю нотации. Мы все должны работать до последнего дыхания, и только работа спасет нас от горя, отвлечет нас, излечит наши душевные раны. Да, да, я знаю – иногда всего труднее жить, но надо сделать усилие, надо преодолеть самих себя, и тогда откроется еще один горизонт, – помните, мы когда-то говорили об этом, когда речь зашла о старости.

Больше мне нечего вам написать сейчас, мои дорогие друзья, нечего, да и незачем сейчас.

Еще раз желаю вам твердости и покоя.

Всегда ваш А. Левин

Удивительно, какое утро встретило его, когда он вышел на крыльцо, удивительно, какое жестокое, какое мучительное, какое насквозь пронизывающее весеннее утро...

Но он нашел в себе силы улыбнуться этому утру – этому ослепляющему солнцу, голубизне, капели, ручьям, которые вдруг потекли из-под снега.

Он стоял и улыбался, и смотрел так, точно мог надеяться, что после весны, после того как растают снега и зацветут красные мхи, он будет видеть лето, греться на добром солнце, ходить в белом летнем кителе. И к лету кончится война, это будет первое послевоенное лето, лето победы.

Он все еще улыбался, глядя на далекие голубые сопки, на корабли, которые стояли в тени скал, на ботишко, быстро бегущий к пирсу, когда дверь за его спиной отворилась и на крыльцо вышел Жакомбай, позевывающий и сонный. Увидев подполковника, он весь подтянулся, подобрался и, не дозевав, прикрыл рот ладонью.

– Весна, – сказал Левин. – Теперь уже возьмется дружно.

– Так точно, – сказал Жакомбай. Потом добавил: – Нет, еще пурга будет, все будет, товарищ подполковник. Еще сильная пурга будет. Один раненый говорил, – он здешний.

Левин молчал.

– Может быть, окна открыть, балкон? – осторожно спросил Жакомбай. – Раненые выражают желание.

– Пойдем! – сказал Левин. – Возьмите молоток, клещи, будем балкон открывать. Это правильно, что они выражают желание.

По дороге вверх он попробовал завтрак – все нормы, потом намекнул аптекарю, что на военной службе надобно бриться чаще, потом выгнал какого-то лейтенанта, проникшего в госпиталь без халата. Жакомбай почтительно подждал его с клещами и молотком в руке.

Стекол на балконе не было, еще в сорок первом здесь все забили досками и фанерой и превратили балкон в склад ненужного инвентаря. Левин приказал созвать весь незанятый персонал госпиталя, и не более как через час тут уже мыли полы и расставляли старые шезлонги. Для того чтобы было покрасивее, Жакомбай принес охапку сосновых и еловых лап и приколотил ветки гвоздиками к балконным перилам. Верочка разложила на круглом столе журналы и газеты, и вскоре сюда гуськом пошли ходячие раненые, которым для этого случая дали шапки-ушанки, полушубки и валенки. За ходячими повезли лежащих, изумленно улыбающихся, сразу пьянеющих от ветра, солнца, капели – от весны.

– На столе имеются шахматы, – громко сказала Верочка, есть домино, есть игра "тише ходишь, – дальше будешь!". Желаящие могут брать.

Никто не обратил никакого внимания на Верочкины слова. Никому не хотелось играть. Многие уже дремали, многие спали. А группа летчиков внимательно смотрела в небо, где баражировали истребители.

Потом было две операции "мирного времени": грыжа у начпрода и аппендицит у Милочки Егорышевой – десятилетней дочери полковника, флагштурмана. Девочка приехала к отцу и заболела, и теперь Егорышев в ординаторской зябко потирал огромные ладони, ходил из угла в угол и говорил сердито:

– Несправедливо устроена природа. Ну чего такое малое мучается? Ну чем оно виновато? А мы с вами здоровые, ничего у нас не болит, ничего нам не угрожает. Сильный был у нее аппендицит?

Левин молчал. Трудно ответить на вопрос: "сильный ли был аппендицит?" Что же касается до несправедливо устроенной природы, то это, пожалуй, верно.

Вместе с Егорышевым они пошли в палату, в которой лежала Милочка – бледная, с острым носиком, испуганная. Действие наркоза проходило, девочке было больно, она морщилась и быстро говорила шепотом:

– Ай, ну сделайте что-нибудь, сделайте что-нибудь, пожалуйста, сделайте что-нибудь...

Егорышев вдруг страшно побледнел, сел возле кровати на корточки и таким же

шепотом, как его дочь, спросил:

– А в самом деле? Может, что можно сделать? Вот как оно мучается...

После операций дел больше не было, и время, которое проходило без дела, вдруг оказалось непереносимо трудным. В эти минуты он и спросил себя – не поехать ли все-таки? Может быть, стоит поехать? Вдруг он спасется? А если и не спасется, то оно не произойдет так быстро? Ведь вот будет же лето, и он тогда увидит это лето, к нему в госпиталь придет Наталия Федоровна, а там, может быть, все как-нибудь изменится и вдруг совершится то открытие, о котором столько времени мечтает человечество?

И тотчас же ему представился знакомый московский госпиталь и он сам в этом госпитале с жалким, заискивающим лицом, представилось, как он лежит и вглядывается в знаменитого профессора, отлично зная, что он приговорен, и пытаюсь все-таки увидеть в профессоре не самую надежду, а только тень ее, только намек на то, чему невозможно верить, потому что тогда нужно забыть все, что знаешь сам. И это жалкое ищущее лицо, лицо человека, потерявшего мужество и потому оставившего свой пост, – это его лицо. Это он – подполковник Левин – убежал и лежит теперь в большом московском госпитале и вглядывается в профессора, и надеется на то, на что надеяться смешно, и не думает о своем отделении, где его заменяет майор Баркан.

Его отпустят сегодня же, если он захочет.

И через четыре дня его прооперируют.

Ну, не через четыре – через неделю. Может быть, прооперируют. А может быть, только вскроют полость живота, посмотрят и зашьют и, конечно, не скажут, что оперировать было бессмысленно. Ничего не скажут, будут к нему внимательны, будут позволять ему капризничать, будут имитировать послеоперационное лечение, будут называть его «коллегой», а какой же он коллега, когда он ничего не делает и когда между ним и теми, кто делает, стоит стена.

Он – подполковник, у него своя военная часть, он не имеет права оставлять свою часть перед решающими боями – вот в чем все дело.

И как бы ему ни было тяжело, как бы ему ни было невыносимо страшно, никто не увидит его ищущего взгляда. Подполковник Левин перед концом не будет хуже, чем те люди, с которыми он жил, и работал, и воевал. Он слишком свой среди них, чтобы быть хуже, чем они. И слишком много раз он говорил им, когда они мучились от ран, что это все вздор, и пустяки, и чепуха.

Разумеется, он шутил, но ведь нетрудно шутить, когда больно и страшно другому, а вот каково шутить, когда больно и страшно тебе?

Ведь страшно?

Да, страшно.

И разве есть такой человек, которому это было бы не страшно?

Вот Федор Тимофеевич, разве он кричал в самолете "хочу жить" или что-нибудь такое, когда машина горела и Плотников все-таки вел ее с торпедой на транспорт?

Разве не страшно штурмовикам идти на штурмовку, а бомбардировщикам на бомбежку, а морякам-подводникам – в долгое и одинокое плавание?

Однако же в их глазах, когда они уходят, нет ничего ищущего, они не ждут утешения, они идут делать свою военную работу и делают ее насколько возможно лучше, даже тогда, когда не остается ни одного шанса на то, что они благополучно вернутся домой.

Это потому, что у них есть чувство долга.

Это коммунисты, советские люди, самые сильные Люди в мире, люди великой идеи, и он обязан быть таким же, как они, он должен так же вести себя, как они, он должен работать, как они, и презирать то, что его ожидает, как презирают они. Сила долга обязана победить страх. Он будет работать и перестанет отдыхать. Страх связан с бездельем. Ему страшно только тогда, когда он не занят. И теперь он поминутно будет находить себе дело. Он ни с кем не станет говорить о своей болезни. Это никого не касается. Неси сам то, что тебе досталось. Слишком много трудного у людей на войне.

Пусть никто не понимает, что он, Левин, знает все сам про себя.

Пусть лучше все недоумевают.

Пусть считают его легкомысленным пожилым доктором.

Кстати, как же будет с тетрадкой, в которой он столько времени записывает случаи обработки тяжелых ранений конечностей под общим наркозом?

Надо все это систематизировать, надо как следует заняться этой работой, потому что ведь время у него чрезвычайно ограничено.

Испугавшись вдруг, он вынул из стола тетрадку и перелистал ее, пугаясь все больше и больше: некоторые места были просто зашифрованы – он иногда так торопился, что писал сокращениями, которые сам разбирал подолгу, как ребус. Вот тут записала Ольга Ивановна, – тогда были бои и раненых шло очень много, он дал ей тетрадку и попросил записать два случая. Очень толково записала. Но что хорошего от этих двух случаев, когда все остальные записаны наспех, только как материал к докладу, начерно.

Он положил тетрадку и опять задумался.

А что, если прооперироваться?

Никуда не уезжать, остаться тут, выйти из строя ненадолго, лежа после операции заняться записками, а потом. ну мало ли что потом?

И разве не глупо вообще отказаться от операции?

Свою военную часть он не покинет. Он будет при ней. Он просто не имеет права вовсе не оперироваться. И Харламов с Тимохиным и Лукашевичем, конечно, настоят. Упираться – несерьезно.

Решено и подписано.

И он почему-то расписался на обложке тетрадки: А. Левин.

Вот и все.

Скрипя протезом, в ординаторскую вошел подполковник Дорош. Было видно, что ему неловко. Они еще не виделись после отъезда Тимохина и Лукашевича. Дорош, наверное, сейчас будет уговаривать оперироваться.

– Присаживайтесь, Александр Григорьевич, – сказал Левин, – хочу у вас кое о чем поспрашивать совета. Тут есть у нас этот повар, вольнонаемный Онуфрий. Должен вам заметить, что эта светлая личность сводит меня. с ума.

И он стал говорить о делах своего отделения, а Дорош смотрел на него внимательно и серьезно, и лицо у него было такое, точно он хотел сказать: "Этого не может быть".

– Что у вас за скептическое выражение лица? – спросил Александр Маркович.

Дорош смутился и ответил, что ничего подобного – он внимательно слушает, и больше ничего. Потом, как бы вскользь, спросил – как самочувствие.

– А какое у меня может быть самочувствие? – ответил Левин. – Стареем, болеем, вот и все самочувствие. Разве не так, Александр Григорьевич? Мы ведь уже далеко не мальчики. Мы – старики, а болеть – главное стариковское занятие. Что же касается до некоторых неприятностей, которые вы, наверное, подразумеваете, то что тут можно поделать? Надо, по всей вероятности, держать себя в руках и не киснуть, так? Или вы считаете, что я неспособен смотреть в лицо своим неприятностям?

– Нет, я этого не считаю, – серьезно и негромко ответил Дорош.

– Значит, этот вопрос будем считать исчерпанным и вернемся к делам. Первое – это наша Анжелика. Мне бы хотелось поставить вопрос насчет присвоения ей нового звания. Вот тут я написал докладную записку, просмотрите, пожалуйста. А это насчет Верочки. Я представил ее к награждению, но майор Баркан считает, что она недисциплинированна...

– Надоел мне ваш Баркан, – сказал Дорош.

– А я к нему стал присматриваться с интересом, – возразил Левин. – И думаю, как это ни странно, что мы с ним, в конце концов, сработаемся. Он человек тяжелый, но и я ведь не конфетка...

Потом они вместе долго разговаривали по телефону с интендантом Недоброво. Недоброво опять отказался дать наматрасники и полторы тонны подарочного лука. Левин

пытался вырывать у Дороша трубку и шипел:

– Скажите ему, что он рано или поздно будет снижен в звании. Этот лук мне лично обещал Мордвинов, и там у него бумага есть. Дайте мне трубку. И скажите ему, что я отказываюсь брать только эту американскую колбасу. Скажите про колбасу...

В конце концов он выхватил трубку, но прежде чем начать разговор с Недоброво, шепотом сказал Дорошу:

– Слушайте внимательно! Сейчас вы увидите, как надо говорить с этим Плюшкиным.

Спектакль продолжался минут двадцать и кончился тем, что Недоброво поклялся сейчас же отпустить и наматрасники, и мясо вместо колбасы, и даже рис вместо пшеницы, по поводу же лука он принес свои извинения.

– Видите? – сказал Левин. – И знаете, в чем дело? Он меня боится. Он меня боится как огня. И только потому, что каждый раз, когда мы встречаемся, я говорю ему всю правду про него. Людям надо говорить правду, они от этого становятся лучше.

Вечером начались боли.

Александр Маркович позвонил Анжелике и велел принести морфий. Через два часа она сделала еще укол.

Под утро он позвонил Верочке. Анжелика стала бы отговаривать. Когда Верочка пришла к нему, в его косую, ярко освещенную комнату, он сидел на койке поджав ноги и говорил громким, каркающим голосом:

– Только попрошу вас со мной не торговаться ни сейчас, ни в дальнейшем. Понимаете? И зарубите это себе на вашем курносом носу. Не торговаться, не возражать, а исполнять расторопно, быстро, как только последовало приказание. У меня все.

Верочка спросонья дрожала, за стеною со скрипом ворочался моечный барабан, часы-ходики на стене отсчитывали секунды со звоном. Она сделала ему укол, и Александр Маркович лег. Верочка укрыла его одеялом до подбородка и спросила:

– Посидеть с вами, товарищ подполковник?

– Нет, идите! – ответил он.

Не дождавшись, покуда он закроет глаза, Верочка все-таки села. Он, казалось, дремал.

Минут через сорок Левин вдруг посмотрел на Верочку и сказал:

– Если я сказал – идите, так это значит, что вы должны уходить, а не рассиживаться, как баронесса. У меня все прошло. Вы же медик, должны понимать.

20

– "Букет", я – «Ландыш», – деловито произнес голос из репродуктора, – я – «Ландыш», «Букет», «Букет», я – «Ландыш». Четыре транспорта вышли из фиорда. Четыре больших транспорта. Буду считать эскорт, прием, прием...

Командующий стоял, облокотившись на балюстраду. Начсанупр Мордвинов негромко, как бы рассуждая, рассказывал о болезни Левина. Командующий молчал, иногда сбоку поглядывая на Мордвинова и далеко держа руку с папиросой.

Когда Мордвинов кончил, на вышке было совсем тихо, даже репродуктор молчал. Только ходил из угла в угол Зубов да шелестели листки радиоперехватов в руке у дежурного.

– Что там? – спросил командующий не оборачиваясь.

– Тревога по всему побережью, – быстро ответил дежурный, – большие силы бросили прикрывать караван. Вся группировка в воздухе. И "Великая Германия" тоже.

– Ну и дать им сегодня за все, – вдруг с плохо сдерживаемой яростью сказал командующий, – за все, что было, полностью. Начинайте, Николай Николаевич! Как у вас с расчетом времени?

Зубов ответил, что с расчетом времени порядок. Сейчас пойдут штурмовики.

– Задача такая, чтобы им не позволить эвакуировать своих солдат, – пояснил командующий начсанупру, – они эвакуацию начали, так мы не дадим. Шутки в сторону.

Мордвинов молчал, вглядываясь в розовеющее небо. Грозный, нарастающий волнами

грохот мощных моторов, казалось, уже заполнил все вокруг, но это было еще только начало. Новая огромная армада кораблей построилась в боевой порядок и легла на курс. Это шли бомбардировщики. За бомбардировщиками пошли торпедоносцы.

– Вот мы какие, товарищ генерал-доктор, – сказал командующий. – Это вам не сорок первый.

– И Петров с ними? – спросил Мордвинов.

– А разве ж его удержишь? Штурманом пошел, а на своем настоял.

– Большой удар, – сказал Мордвинов. – Еще не было таких, – верно, Василий Мефодиевич?

– "Букет", я – «Ландыш», – заговорил голос в репродукторе, – «Букет», я – «Ландыш». Штурмовка проходит нормально. Нахожусь в районе цели. Противник оказывает сопротивление. Ведущий «Тюльпан» загорелся. «Тюльпан» первый загорелся. Прием, прием!

Зубов повернул к себе микрофон. Командующий велел ему прикрыть Ватрушкина. Вновь заговорил «Ландыш». Теперь он рассказывал подробности штурмовки. И голос у него был такой, будто он говорит из штаба, а не висит над грандиозным воздушным сражением.

– Теперь не надо их дергать, – сказал командующий, – теперь им не до советов. Теперь работа.

Он опять закурил, слушая голоса из репродуктора.

– И сын ваш там? – спросил Мордвинов. Командующий кивнул. Синие глаза его блеснули и потухли. Погода, он покрутил головой, словно воротник кителя давил ему шею, и сказал:

– Стрелком летает в штурмовой авиации. Помолчал и добавил:

– Хорошо им! А ты... слушай... дожидайся...

"Вот и Левин так же, – почему-то подумал Мордвинов. – Совершенно так же!"

– "Букет", я – «Маргаритка» шестая, я – «Маргаритка» шестая. «Тюльпан» первый перетянул линию фронта и сел благополучно, – быстро и хрипло заговорил репродуктор. – «Букет», «Тюльпан» первый сел нормально.

На мгновение командующий отвернулся, потом сказал негромко:

– Пошлите, Николай Николаевич, туда эмбээр, он на озерцо и сядет. И прикрытие пошлите. Да, вот еще что – пусть Ватрушкину вымпел сбросят, а то он там с ума сходит. В самом начале срезали, – наверное думает Ватрушкин наш – все дело провалилось. Значит, вымпел и записку. Записка такая...

Он нахмурился, крепко придавил окурок в пепельнице пальцами и продиктовал:

"Дорогой товарищ Ватрушкин! Поздравляю вас с образцовым выполнением задания, штурмовка прошла отлично, представляю к награждению орденом Красного Знамени, жду на командном пункте после того как покажешься врачу". Подпись. Все.

Вновь заговорил «Ландыш». Второе немецкое судно взорвалось. На барже возник пожар.

– Ну, а насчет Левина – что же? – сказал командующий. – Я того же мнения, что и вы, Сергей Петрович. Он с нами жил – естественно, ему с нами и оставаться до конца. Я его совершенно понимаю. Морально мы его поддержим, верно, Николай Николаевич?

Зубов кивнул.

– Вот так, – сказал командующий, – а что касается Харламова, то я, конечно, не специалист, но так слышал, что в ученом мире он большой авторитет. Да ведь, с другой стороны, Сергей Петрович, в нынешней войне, насколько мне известно, крупные врачи не только в Москве. Они и в армиях и на флотах. Верно я говорю?

Мордвинов согласился: конечно, верно. Харламов – хирург очень крупный. И в ближайшие дни, как он докладывал, будет оперировать Левина тут, в гарнизонном госпитале.

– Так просто взрежет или в самом деле поможет? – спросил генерал.

Начальник санитарного управления промолчал.

– Да, болезни-болезнишки, черт бы их драл, – опять заговорил командующий, – раки

все эти, ангины, скарлатины. Кстати, Сергей Петрович, что это за штука, этот рак? Или канцер, как вы говорите? Ужели ничего с ним невозможно поделать?

подавляя раздражение, Мордвинов покашлял. Он очень не любил эти дилетантские вопросы и никогда не знал, как отвечать на них.

– Смотри в каком случае, – подбирая слова, сказал он, – ведь рак, Василий Мефодиевич, это что такое? Это такая, понимаете ли, пакость, которая развивается из клеток эпителия различных органов и, прорастая в соединительные ткани, разрушая мышцы, кости, ткани, разъедает кровеносные сосуды. Есть такая теория, что тут главную роль играют сохранившиеся эмбриональные клетки... Впрочем, это слишком все сложно, – еще более раздражаясь, сказал Мордвинов, – существенно тут, пожалуй, только то, что прорастающие раковые клетки попадают в лимфатические сосуды, образуя метастазы... Командующий слушал с терпеливым и слегка насмешливым выражением.

– Ну да, ну да, – вдруг перебил он, – я вот слушаю и думаю, кого это мне напоминает? – Он усмехнулся. – Очень, знаете, напоминает, слово вам даю, только вы не обижайтесь, идет? В Испании один дядька был – американский житель, да вы же его знаете, он тоже по санитарной части работал, так вот он, не обижайтесь только, Сергей Петрович, совершенно так же фашизм объяснял. И куда он прорастает и из чего состоит. Помните американца этого? В желтой кожаной жилетке ходил и все фотографировал. А главная его мысль была, что фашизм подобен раку и что бороться с фашизмом так же бессмысленно, как пытаться победить рак. И врал, подлец! Врал, собачий сын! Потому что мы фашизм не только бьем, но и побеждаем и вскорости победим, по крайней мере немецкий фашизм. Вот ведь что мы делаем!

И папиросой командующий несколько раз сердито ткнул в ту сторону, откуда, победно воя моторами, возвращались армады машин.

– Нет, это к черту, – сердито заключил он, – так, Сергей Петрович, нельзя. Метастазы. Так вы далеко на ускачете, коли все руками разводите да делать похоронное лицо. Слово-то какое красивое – метастаз. Это самое слово и говорил мистер в кожаной жилетке. Квакер он был, что ли, я не помню.

Он повернулся к Зубову, и, поговорив с ним о делах, стал докладывать по телефону адмиралу, а начсанупр вдруг, совершенно против своего желания, подумал, что в словах командующего есть какая-то настоящая и глубокая правда.

– Ну, а Шеремет ваш как? – спросил погодя командующий.

– Ничего, работает скромненько. Должность, конечно, лейтенантская, не больше. Поначалу, говорят, не брился, а теперь повеселел, анекдоты рассказывает. Немного человеку надо.

Командующий молчал, пожевывая мундштук папиросы.

– Отдать бы его в ученики к Левину, – сказал он погодя. – Да ведь только этому не научишься. Тут секрет какой-то, какая-то сила. Детство у него, что ли, было тяжелое?

– Да, очень, – сказал Мордвинов, – очень. И детство и юность. Его никто не подымал, он сам прорвался.

– Наше поколение это понимает, – раздумывая, ответил командующий, – очень понимает. Верите ли, до сих пор – проснись, увижу китель свой на стуле и подумаю: это что за генеральский погон? Ведь мой-то старик... э, да что говорить, – махнул он рукою. И спросил: – А вы, Сергей Петрович, из кого?

– Вроде вас, – ответил Мордвинов.

Василий Мефодиевич молчал. Трудно гудя, прошла еще одна армада машин.

– Это откуда же они идут? – спросил Левин.

– Большой был удар, – ответил Дорош. – И по базам ихним, и по кораблям, и по гарнизону. Они всю свою авиацию подняли, и совершенно без всякого толку. Была тут такая воздушная группировка – "Великая Германия". Так теперь ее нету. Одни слезы остались.

Дорош открыл окно. Было еще холодно, но уже сильно пахло весной и с залива несло запахом водорослей и сыростью.

– Весна! – сказал Дорош.
– Неверная тут весна, – ответил Левин, – нынче тепло, а завтра начнутся заряды, пойдет мокрый снег, все закрутит и завертит. Ну ее, эту весну!
Они помолчали, покурили. Потом Левин вдруг сказал:
– Очень, знаете ли, хочется дожить до дня победы. Просто необходимо дожить.
И засмеялся.
Когда Дорош ушел, он велел без дела никому не входить и занялся своей тетрадью. Вынул из кошелька новое перо, разложил промокашку, какие-то заношенные в карманах записки и, протерев очки, засел за работу. Часа через два к нему постучала Анжелика.
– Что случилось? – спросил он.
– Товарищ полковник Харламов звонил, – сказала Анжелика, – просил лично меня начать подготовку к операции.
– К какой операции? – сердито спросил Александр Маркович.
– Да ну к вашей операции, – ответила Анжелика, – разве стала бы я вас беспокоить! Это ведь дней пять протянется.
– Ну хорошо, хорошо, идите, – сказал он, – я поработаю и вас позову. Мне сейчас некогда. Идите, дорогая, идите!
И запер за нею дверь на ключ.
Но работать ему все-таки не дали. Пришел Мордвинов, сказал, что хочет есть, и долго ел свою любимую жареную картошку с огурцами. Потом подмигнул и спросил:
– Бойтесь оперироваться?
– Я с ума сойду от этой чуткости, – сказал Левин. – Все меня окружают вниманием и заботой. А у меня есть работа и она не ждет.
– Это намек? – спросил Мордвинов.
Левин запер свою тетрадь в стол и сказал, что генералу он никогда бы не решился так намекать. Они посмеялись, и Мордвинов подробно рассказал Левину о сегодняшнем сражении. Потом говорили насчет того, как будет развиваться дальнейшее наступление и когда же наступит день победы.
– Знаете, у меня такое чувство, – сказал Мордвинов, – что нынче об этом говорят решительно все и решительно везде. Вчера точно так же мы толковали весь вечер с Харламовым. Невозможно не говорить. Кстати, оперировать вас будет именно он. Вы не возражаете?
Левин сказал, что не возражает, и проводил Мордвинова, как обычно, до пирса.
– А насчет доклада вашего всюду шум, – сказал Мордвинов. – Понравился нашим лекарям. Это нынче общее направление для всех наших хирургов. У вас теперь много последователей, знаете? В самых маленьких медицинских пунктах у вас есть последователи. Ну, до свидания. Навещу вас, когда будете лежать!

Дорогая Наталия Федоровна!

Не писал Вам так долго, потому что ошибочно предполагал, что мои письма нынче лишь обременят Вас, а все оказалось неверно. Я ведь ошибаюсь вечно. Помните, как меня называли доктор «невпопад»?

Никаких особых новостей у меня нет. Конференция хирургов, которая Вас интересует, прошла чрезвычайно интересно и содержательно. Ваш покорный слуга выступил с сообщением, о котором он Вам в свое время не раз писал. Сообщение это было выслушано внимательно и получило высокую оценку большинства собравшихся во главе с Вашим старым знакомым проф. Харламовым. Вот я и похвастался.

На днях меня будут оперировать.

Не утаю от Вас, сударыня, что несколько волнуюсь. Страшит меня не сама операция, а собственное мое поведение. Как бы, знаете, не разнюниться над своей персоной. Оперировать будет тот же Харламов, которому я передам привет от Николая Ивановича. Это очень поднимет мою персону в его глазах, правда?

Податель сего письма передаст Вам маленькую посылочку. Сладкого я ем

очень мало, а одна моя знакомая, как мне помнится, всегда любила консервированные фрукты. Трубку же я курить не умею. Ее подарил отец девочки, у которой я благополучно удалил аппендикс. Не скрою от Вас, что я сообщил бывшему владельцу трубки, что она будет мною переправлена моему знакомому академику и генерал-лейтенанту. Видите, как я мелко честолобив? Пусть его великолепие академик курит на здоровье, трубка, по утверждению знатоков, хорошая и уже обкуренная. Послушайте, когда же Вы наконец займетесь панарициями? Небось уже и азы забыли?

Теперь напишу после того, как меня прооперируют.

Остаюсь Вашим покровителем и постоянным благодетелем

лекарь А. Левин

21

Накануне вечером из главной базы приехала хирургическая сестра Харламова Нора Викентьевна, женщина чрезвычайно высокая, белесая и говорящая в нос, точно у нее полипы. Сказав про себя, что она «прибыла», она вызвала Анжелику, и, сильно затягиваясь папирсой, объявила:

– Вам, несомненно, было бы трудно помогать Алексею Алексеевичу во время операции по двум причинам: во-первых, вы не работали с Харламовым, во-вторых, подполковник Левин для вас человек близкий, почти родной. Не перебивайте меня. Я лично не могла бы даже присутствовать в том случае, если бы Алексей Алексеевич нуждался в операции.

У Анжелики дрогнул подбородок и один глаз наполнился слезой. Но она сдержалась и спросила:

– Может быть, все-таки хоть чем-нибудь я могу быть полезна?

– Вы не можете быть полезны ничем, – очень в нос ответила Нора Викентьевна, – ничем, кроме того, что введете меня в курс дела. Я не знаю вашей операционной.

Анжелика показала ей операционную, автоклав, инструменты. Сзади как тени ходили Лора с Верой и вздыхали. В одиннадцать часов Нора Викентьевна попросила сегодняшние газеты и ушла в ленинский уголок готовиться к завтрашнему вечеру – у нее была назначена беседа с младшим медперсоналом базового госпиталя на тему текущего момента.

Лора и Вера тоже сидели в ленинском уголке и делали вид, что читают «Крокодил». Потом они стали шептаться.

– Девушки, вы мне мешаете! – сказала Нора Викентьевна и сняла пенсне.

– Извините, – сказала Лора.

– Ах, мы больше не будем! – воскликнула Вера. – Мы не знали, что у вас такие чуткие уши.

И они ушли, взявшись под руки.

Анжелика сидела у Варварушкиной, когда туда заглянули Вера с Лорой.

– Ольга Ивановна, – сказала Вера, – вы давеча утюг просили, надо? А то давайте я вам блузочку отглажу, знаете, как я глажу? Никто во всем свете так не может гладить, как я.

Нору Викентьевну все осудили, кроме Варварушкиной. Та сказала, что все-таки Нора – замечательная хирургическая сестра, почти как Анжелика, но главное, разумеется, то, что она привыкла к Харламову. Ведь у каждого хирурга свои причуды. Вот ведь Левин тоже, бывает, начнет злиться и даже ногой топает: "Дайте мне это, ну же, это, это..." И надо знать, какие названия он никогда не забывает, а какие забывает. И вообще надо знать, какие инструменты он предпочитает. Ведь по ходу операции есть определенная очередь инструментам, а каждый хирург все-таки по-разному пользуется этой очередью. Вот и подаешь ему то, что не требуется.

– Однако я никогда ничего не путала, если мне память не изменяет, – сказала Анжелика. – И не путала и никогда не спутаю. Я по глазам хирурга умею видеть, что ему нужно. Слава богу, не два года работаю.

Вера сердито гладила блузку. Лора сидела подперев лицо руками и поглядывала то на Ольгу Ивановну, то на Анжелику. Потом сказала:

– Будет он жить, девушки, или не будет – вот что главное, а остальное все пустяки. – И вздохнула. – Увезли бы его в Москву, там все-таки профессора, так профессора. А этот Харламов какой-то несолидный.

Заглянул Баркан – спросил, где Александр Маркович.

– А в ординаторской, наверное, – сказала Вера. – Отдыхает.

Баркан постучался в ординаторскую. Левин в расстегнутом кителе ходил, по своей привычке, из угла в угол. Лицо у него было спокойное и даже веселое.

– Чем это вы так довольны? – спросил Баркан, ставя на стол шампанское.

– Чем? – удивился Левин. – А ничем. Просто вспомнил один старый анекдот. Вам, конечно, известно, что великий наш хирург Пирогов обладал довольно скромной внешностью. Был косоглаз, слегка рыжеват. Ну, а современник его, не помню фамилии, профессор, может быть, даже Иноземцев, имел внешность чрезвычайно эффектную. Вот кто-то из тогдашних медицинских остряков возьми и скажи: если вы хотите показать больному профессора, то пригласите Иноземцева. А если хотите пока зать профессору больного, то пригласите Пирогова...

Баркан усмехнулся.

– Как там наш немец? – спросил Левин.

– Уехал от нас, – сказал Баркан, откручивая проволочки на пробке. – Очень был, я бы выразился, застенчив...

Александр Маркович вымыл стаканы и спросил, откуда у Баркана шампанское.

– Жена прислала! – медленно выкручивая пробку, ответил Вячеслав Викторович. – Приехал тут один и привез посылочку.

– А по какому случаю мы пить станем?

– Ни по какому.

– Врете. Небось за мое здоровье. За благополучный исход.

– И это неплохо.

Пробка сама поползла вверх.

– Если выстрелит – значит, все будет в порядке, – произнес Левин. – Это старая и верная примета: шампанское обязано стрелять.

Он внимательно смотрел на бутылку, и было видно, что он волнуется – выстрелит или не выстрелит. Баркан тоже ждал, и, когда пробка вылетела и пенная струя косо ударила в стену, у обоих – и у Баркана и у Александра Марковича – повеселели лица. Они выпили по стакану пены, и Баркан спросил:

– Что-то последнее время, Александр Маркович, вы на меня не кричите? Чем это объяснить?

– Не знаю.

– И я не знаю. Но, во всяком случае, не потому, что я смирился. Надо думать, что это вы притерлись к нашему отделению...

– Я ни к чему никогда не притираюсь...

– Тогда, значит, наше отделение притерло вас к себе. У нас часто так бывает, Вначале, например, Жакомбай очень хотел от нас уйти, а потом понял, что тут он на своем месте. Притерся.

– Ничего он не притерся, а просто он на вас молится! – рассердился Баркан. – Тут многие на вас молятся, а вы и довольны. Не обижайтесь, вам нравится это поклонение: наш подполковник, у нас в отделении, с этим может справиться только Левин. Все мы люди, все человеки, ничего не поделаешь...

Александр Маркович подумал и сказал, что это не так-никто па него здесь не молится. Что же касается до Жакомбая, то тут особая штука. Надо делать не только то, что положено, но и еще многое иное, такое, что подсказывает душа...

– Что же именно подсказала душа вашему Жакомбаю? – спросил Баркан.

Левин ответил не сразу.

Вячеслав Викторович налил еще пены.

– Что не положено? Он, видите ли, сам ищет. Он отыскивает, что можно еще сделать, и делает: он, например, сам сделал для нас с вами электрический умывальник, для камбуза соорудил электрическую сушилку, сделал гидролизный электрический стерилизатор...

– Но я этого не умею! – буркнул майор.

– Зато вы умеете многое другое. Умеете, но обижаетесь по пустякам, сердитесь и работаете по своей специальности хуже, чем Жакомбай по своей. Но это ничего. Мы вас перемелем...

– Благодарю...

– Пожалуйста. Вы уже помаленьку перемалываетесь.

– Но я еще недостойн заменить вас в отделении, пока вы будете оперироваться?

– Боже сохрани! – испуганно и сердито сказал Левин. – Вы ведь еще не понимаете даже, кто такой Жакомбай.

– А это так важно?

– Ого!

Они помолчали, потом Левин, как ему показалось, довольно искусно перевел разговор на более спокойную тему – на случай перитонита, имевший место несколько лет тому назад. Баркан поддержал разговор, и они заспорили друг с другом без былого недружелюбия, заспорили, как спорят добрые знакомые доктора. А погода майор ушел напевая, в хорошем настроении.

– Значит, не я буду вас заменять на время операции? – спросил он уже в дверях.

– Нет, не вы.

– А кто же, разрешите узнать?

– Думаю, Варварушкина. Впрочем, мне еще нужно согласовать это с начальником госпиталя...

– Ну, добро! – ответил Баркан и плотно затворил за собой дверь.

Согласовав все с начальником госпиталя, Левин вызвал к себе Варварушкину. Ольга Ивановна очень удивилась и даже расстроилась оттого, что она, а не Баркан, останется заместителем Левина, но он ее утешил, сказав, что это ненадолго, что еще лежачим он будет. ей помогать и что в особых случаях она вполне может обращаться за помощью к начальнику первого хирургического. Ольга Ивановна слушала, раздумываясь от волнения, ломала спички и все пыталась перебить, но Александр Маркович не позволял, а когда он кончил говорить, она тоже ничего не сказала, только еще больше покраснела и так молча, краснея до ушей, вышла из ординаторской. Но он окликнул ее и, безотчетно радуясь ее волнению, сказал, что это еще не все и что им надобно подробно поговорить обо всех раненых отделения. Говорили они подробно и пили чай с клюквенным экстрактом. Ольга Ивановна записывала в книжку, а иногда спрашивала, и он ей подробно объяснял то, что было не совсем ясно.

– Ну, теперь я поняла, – говорила она, глядя ему в глаза, – теперь мне все ясно.

– Ясно? – спрашивал он, радуясь. – Да, совершенно.

– Ну и превосходно. Теперь дальше пойдем. В шестой лежит такой волосатый старшина, такой черный, скандальный. Насчет этого старшины я думаю так... И он рассказал, как и чем следует лечить скандального старшину, объяснял, почему именно старшина скандалист и какие у него боли. А Ольга Ивановна кивала головою, и он понимал, что ей важно и нужно его слушать, что она многого еще не знает, но что знать она будет, а если чего-нибудь и не поймет, то спросит у него. И это ощущение, что она спросит, странно успокаивало Александра Марковича и радовало его.

Потом он проводил ее по коридору уснувшего госпиталя и попрощался с нею за руку, чего раньше не делал, а она взглянула ему близко и прямо в глаза и сказала:

– Ну, спокойной ночи, товарищ подполковник. Ни пуха вам ни пера! Все будет прекрасно, я уверена!

Он кивнул и пошел один дальше по коридору. Госпиталь спал, все двери из палат были открыты, дежурная санитарка дремала у своего столика. Левин шел, подняв голову, прислушиваясь, размышляя. Тихо дышали спящие. Горели синие лампочки. "Мое хозяйство, – подумал Левин. – Может быть, я прощаюсь? Может быть, я сентиментален? Может быть, мне хочется плакать? Может быть, мне хочется говорить жалкие слова?"

Нет, ему вичего такого не хотелось. Он хорошо себя чувствовал и не испытывал ни страха, ни робости. И не только завтрашний день не был ему страшен – ему не было страшно будущее. "Я освободился от страха, – спокойно решил он. – Вот в чем все дело. Я переболел страхом. Он остался позади. Теперь мне ничего не страшно, потому что – что может быть страшнее самого страха?"

В ординаторской его ждала Нора Викентьевна со шприцем и морфием. Александр Маркович вежливо ее спросил, не скучала ли она; она ответила, что нет, не скучала, потому что никогда не скучает и считает, что скучают только лодыри и лежебоки.

– Возможно, – согласился он.

Насадив на крупный нос пенсне, Нора не торопясь и очень толково рассказала ему, что нынче творится на свете. Потом пояснила:

– Обычно я накануне беседы с кем-либо репетирую. Сегодня жребий выпал на вас...

– Я прослушал с большим интересом, – сказал Александр Маркович. – Вы, наверное, очень увлекаете ваших слушателей.

Нора Викентьевна пожала плечами и ответила, что бывают и неудачи.

Они еще поговорили на общие темы, повспоминали знакомых хирургов и некоторые клиники. Нора Викентьевна хвалила только Харламова.

– Этого хирурга я боготворю! – сказала она. – И давайте не спорить.

Левин даже и не собирался спорить.

Спросив, очистил ли он себе желудок и все ли сделано для подготовки к операции, Нора Викентьевна ввела ему морфий, уложила, укрыла одеялом и сказала:

– Очень рада была с вами познакомиться и убедиться еще раз в том, как лгут люди. Про вас говорят, что вы ругаетесь как извозчик и грубите своим подчиненным. Вряд ли это так... До завтра, товарищ подполковник. Спите!

А утром Левин, виновато улыбаясь, лег на тот самый стол, за которым оперировал всю войну. На его месте теперь стоял Харламов, а там, где обычно находились Ольга Ивановна и Баркан, были Тимохин и Лукашевич.

Впрочем, Ольга Ивановна тоже была тут, но как-то поодаль, точно чужая.

– Вот... пришлось вам тащиться в наш гарнизон, – сказал Александр Маркович Харламову. – Может быть, мне следовало лечь к вам в базовый госпиталь?

– Да, да, дожدهшься вас, бросите вы свой госпиталь; – ответил Харламов, а дальше Левин не расслышал, потому что флагманскому хирургу надели марлевую маску.

Тимохин был уже в маске, руки держал далеко от себя и напевал негромко: "тру-ту-ту-тру-ту-ту!" А Лукашевич, похожий в халате и шапочке на привидение, которое устраивают дети из щетки и простыни, смотрел в окно и видел там, должно быть, то, что видел обычно и Левин: серый залив и на нем корабли – маленькие, словно игрушечные.

Наркотизировал Лукашевич, и Левину было почему-то приятно, что этот костлявый и раздражительный человек, прежде чем взять в руку его запястье, пожал ему плечо и слегка похлопал его, как бы о чем-то с ним договариваясь, как равный с равным, как старый и верный приятель. Потом он услышал шаги Тимохина и его приближающееся «ту-ту-ту-тру-ту-ту», и тотчас же ему сделалось противно от все усиливающегося запаха наркоза. Но тем не менее он продолжал считать, хоть это было вовсе и не обязательно, теперь он считал только для того, чтобы продержаться на некой поверхности, откуда его тянуло в быструю и верткую трясину. Еще какая-то мысль промчалась, он хотел схватиться за эту мысль, но не успел и стал проваливаться в омут – все глубже и быстрее, все быстрее и глубже, пока сознание не покинуло его.

"Тру-ту-ту-тру-ту-ту", – едва слышно, почти про себя напевал Тимохин, и никто не

знал, что пел он так потому, что волновался. Знала об этом только его жена, Таисья Григорьевна, но ее не было здесь, а то бы она дотронулась до его плеча, и он сразу перестал бы напевать и сконфузился.

– Ну? – спросил Харламов тенорком.

– Да что ж, пожалуй, можно! – ответил Лукашевич, продолжая капать из капельницы на маску.

Нора Викентьевна смотрела сбоку на тонкую шею Харламова и на его плечи. По движениям шеи и плеч она всегда знала мгновение начала операции, и вот это мгновение наступило. Совершенно беззвучно и почти не глядя на столик, на котором в раз навсегда установленном порядке лежали хирургические «наборы», Харламов взял скальпель и сделал движение плечом и шеей. И Нора Викентьевна тотчас же сделала свое движение, а Тимохин – свое, и умные руки всех троих стали работать как руки одного человека – с идеальной, молчаливой и точной согласованностью.

Было очень тихо, только иногда сопел вдруг толстый Тимохин да слышалось дыхание Левина – ровное, но тяжелое. Иногда он всхлипывал чуть-чуть, точно собираясь заплакать, порою шумно вздрагивал. Но пульс был ровный, хорошего наполнения, и Ольге Ивановне теперь сделалось спокойно и не страшно. А потом она сама не заметила, как залюбовалась всей этой работой – и удивительным ритмом, который царил среди работающих людей, и тем, как они все понимали друг друга без слов, и самим Харламовым, который теперь перестал быть маленьким и тщедушным, а сделался словно бы крупнее и выше. И глаза Харламова ей нравились, она верила этим глазам, этому спокойному свету, этому упрямому и сильному выражению, делавшему ordinarilyное лицо Алексея Алексеевича не похожим ни на кого из хирургов, которых она встречала.

– Ну? – спросил он тенорком.

Тимохин слегка наклонился и несколько секунд ничего не говорил, а только сопел.

– Опухоль проросла в ободочную кишку, – сказал Харламов. – Видите, Семен Иванович?

"Тук-тук... – бился пульс в руке у Ольги Ивановны, – тук-тук..."

Лукашевич два раза коротко вздохнул.

– Ну, вижу, – медленно и недовольно сказал Тимохин, Он точно бы не хотел согласиться с тем, что сказал Харламов, но соглашался вынужденно.

– Будем резецировать?

Сердце у Ольги Ивановны сжалось. "Тук-тук, – билось в запястье у Александра Марковича, – тук-тук". Сейчас они скажут самое главное. И от того, что они скажут, будет зависеть все.

Была секунда, когда ей не хотелось слышать, но все-таки она услышала голос Тимохина. Он пока еще не утверждал, а только спрашивал, но по тому, как он спрашивал, она поняла, каким может быть ответ.

– А это, вы думаете, не карциноматоз забрюшинных желез? – почти лениво и очень медленно, как ей казалась, спросил Тимохин.

Харламов молчал.

"Может быть, еще нет..." – безнадежно подумала Ольга Ивановна.

– Да, – ответил Харламов. – Да, тут двух мнений быть не может, картина чрезвычайно ясная.

Они еще помолчали. Потом Харламов сказал решительным, несомневающимся тоном:

– Паллиативная операция слишком опасна, радикальная невозможна. Придется зашивать.

"Вот и все! – подумала Ольга Ивановна. – Вот и все". И отвернулась.

– Под печень мы ввели тампон, – осторожно напомнила Нора Викентьевна, и Харламов ответил вдруг с еле сдерживаемым бешенством:

– Знаю! Можно не напоминать по три раза!

Потом, моя руки, Харламов сказал, ни к кому не обращаясь, и голос его прозвучал

сурово, даже угрожающе.

– Я думаю, – сказал он, – подробности не станут известны Александру Марковичу.

Вариант для него такой. такой: сделано желудочно-кишечное соустье. Впрочем, полковник Тимохин тут останется и доложит ему сам.

Нора Викентьевна подала Харламову полотенце. Тимохин все ходил и напевал, сердито поглядывая по сторонам: "тру-ту-ту-тру-ту-ту!" А Лукашевич робко попросил у Анжелики, наводившей порядок в своем хозяйстве:

– Будьте добры, сестрица, дайте мне тридцать граммов спирта с вишневым сиропом.

Простыл я в самолете.

И для правдоподобия зябко поежился.

Уехал он вместе с Харламовым и Норой Викентьевной, а Тимохин остался, и было странно видеть, как сидит он в левинской ординаторской и пишет там что-то в маленькой записной книжечке. Да и весь этот день был какой-то странный и печальный, не похожий на другие дни.

Под вечер Тимохин долго разговаривал с Барканом. И Баркан вышел от него расстроенным, тихим, с виоватым выражением лица.

22

На восьмой день Левину сняли швы, а на пятнадцатый он отправился в первый поход по своему отделению. Ольга Ивановна шла рядом с ним, поглядывая на него с тревогой, а он говорил ей сердито-веселым голосом:

– Лежание пошло мне на пользу, я вчера покончил со своими заметками, надоели только гости. Вы видели, что делалось? Уж Мордвинов, человек как будто занятой, и тот чуть не каждый день являлся. А Тимохин, знаете ли, милейшая личность. Умен и много знает. Бурчит только иногда, как медведь, слов не разберешь. Лукашевич тоже милейший человек. Вообще, конечно, все это было довольно трогательно, особенно если бы времени побольше. Ну а тут полон рот хлопот, чувствуешь себя отлично и изволь – лежи. Да, а вы говорите – хирургия! Прооперировали – и значительно легче стало. Нет этого отвратительного ощущения постороннего тела в животе. А до операции было похоже на сказку, помните, кто-то там съел бабушку, волк, что ли? Вот и у меня было совершенно такое чувство, как у волка. Ну, идите себе, мне на камбуз надо, я ругаться иду, вам это слышать не следует.

И помахал ей рукою.

Он пошел вниз, а она стояла и смотрела ему вслед. Как странно: неужели ему в самом деле легче? Вот пошел на камбуз ругаться. Вчера объявил выговор Онуфрию. Два дня назад собрал у себя в палате летучку и при всех сказал, что объявляет ей, Варварушкиной, благодарность.

Ольга Ивановна шла по коридору и думала.

– Доброе утро, товарищ доктор! – сказал ей майор Ватрушкин. – Помните меня?

– Помню, – сказала она. – Вы капитан Ватрушкин.

– А вот и нет! – сказал Ватрушкин. – Вот и майор. Меня, между прочим, опять ранили.

– Да что вы говорите?

– И глупо ранили, – сказал Ватрушкин. – Ну, да, это вам все равно не понять. А скажите, где сейчас подполковник Левин? Это правда, что его оперировали? И, говорят, будто он никуда от нас не хотел ехать? Это все верно?

– Верно! – сказала Варварушкина, невольно улыбаясь. С Ватрушкиным нельзя было говорить и не улыбаться.

– Ну, молодец старикан! – воскликнул Ватрушкин. – У него среди нашего брата большой авторитет. Не верите?

– Верю, – ответила Ольга Ивановна. – Только чего вы рассказываете? Идите-ка в палату!

– Мне ходить и стоять здоровее, – сказал Ватрушкин. – Впрочем, я вас провожу. А вы слышали, что у меня сын родился?

– Нет, – сказала Варварушкина. – Где же нам слышать! Мы люди темные, газет не читаем.

– Родился, – подтвердил Ватрушкин. – Ванькой назвали. Нынче самое редкое имя. Комичный парень. Да-а, а вы все думаете – капитан Ватрушкин. Нет, до Ватрушкина теперь рукой не достать.

И он так громко и весело захохотал, что Варварушкина на него зашикала.

– Извиняюсь, – испугался он, – забыл. Отвык от госпиталя. У нас офицеры так однажды хохотали, что в землянке стена лопнула и песок посыпался. Не верите?

– Не верю.

– И никто не верит. Такая землянка подобралась.

Ольга Ивановна ушла, а Ватрушкин остался дежурить в коридоре, чтобы еще с кем-нибудь поболтать. В палате ему было скучно, там все сейчас почему-то спали.

"Вот Левин пойдет – его и поймаю, – решил Ватрушкин. – С ним потолковать интересно. Про сына ему расскажу. И пусть, в самом деле, зашьет мне рану, что ли!"

А Александр Маркович сидел в это время на кухне возле большого разделочного стола и говорил руководящему Онуфрию Гавриловичу:

– Однако из тех же продуктов можно варить совершенно приличное горячее. Вы убедились в этом сами. Но стоило мне на две недели оставить вас в покое, как вы опять принялись варить несъедобную дрянь. В чем же дело, скажите на милость?

Онуфрий посмотрел на него коротко и злобно. И Левин успел заметить этот взгляд.

– Вы думали, что я никогда тут не появлюсь, – продолжал он, – а я появился и постоянно буду появляться. Если же умру, то после каждого дурно сваренного вами обеда буду приходить и душить вас по ночам... Я буду являться как привидение.

Руководящий осклабился. Гроза проходила стороною-Левин шутил. И Онуфрий даже сразу не понял, когда Александр Маркович сказал:

– Я отстраняю вас на трое суток от работы на кухне. Вы будете теперь колоть дрова, выносить из кухни помой и делать другую работу, которую никогда не делает повар. Понимаете? Таким способом я наказываю вас. Я наказываю вас за то, что вы кормите людей, проливших свою кровь за родину, невкусной, дурно проваренной, противной пищей. Вы поняли, за что я вас наказываю?

– Понял, – отвернувшись, сказал кок.

– Я не слышу, что вы там бурчите. Повернитесь ко мне и повторите.

– Понял!

– И не кричите, а то будете колоть дрова не трое суток, а пятеро. Ясно?

– Ясно.

– Варить будет ваш помощник Сахаров. Он не знает, что такое «дефуа-гра», но он варит лучше вас, потому что старается. Варить будете вы, слышите, Сахаров?

– Есть! – выкрикнул Сахаров.

– А если по возвращении с дворовых работ вы, Онуфрий Гаврилович, не исправитесь, я отдам вас под суд как злого нарушителя трудовой дисциплины. И вы будете сурово наказаны.

– На здоровье! – сказал руководящий и кинул черпак в котел с такой силой, что суп брызнул на плиту и на пол.

– Не безобразничайте! – сказал Левин. – Вы получили взыскание по заслугам, и очень мягкое. Я не собираюсь вас перевоспитывать, вы дурной человек и дурной работник. Но так как мне нечем вас заменить, то я принуждаю вас работать честно и буду принуждать до тех пор, пока вы не станете нормальным работником.

Выходя в тамбур кухни, он услышал, как Онуфрий сказал Сахарову:

– Уж и ползать совершенно нисколько не может, а туда же, командует. Другие люди об это время всех жалеют, а он как все равно собака накидывается.

Александр Маркович усмехнулся. Нет, он не будет всех жалеть. Всех жалеть отвратительно. Пожалеть кока – это значит не выполнить свой долг по отношению к раненым. Нет, он не пожалеет Онуфрия. Всех жалеть – это значит никого не любить. Пусть Онуфрий отправляется колоть дрова и носить помои. Не надо разводить иронию. Вот он разговаривал с Барканом всегда прямо и резко, и теперь в Баркане что-то переменялось. Может быть, это ему кажется, может быть, он еще ошибается, но Баркан уже не тот, каким был раньше. Он иначе разговаривает теперь и больше спрашивает, чем утверждает. Нет, извините, он не будет прощать и жалеть. Вот, например, Розочкин – вялый человек. Что может быть страшнее вялого человека? Ему, наверное, хочется лежать и перелистывать старый журнал, а вернее всего – ничего не хочется, и это тоже нельзя прощать, потому что вялость Розочкина не только его внутреннее качество, а качество и внешнее – касающееся всего госпиталя – вот как. Что ж, пожалеть и Розочкина?

В халате, с палкой он пришел к Розочкину и поболтал с ним минут десять. Розочкин сообщил, что у него тридцать семь и шесть.

– Да, у вас, видимо, насморк, – сказал Левин. – Полощите нос соленой водой. Мне это помогало.

Розочкин посмотрел на него жалостно своими красивыми, томными глазами.

– А ложиться вам нельзя, – сказал Левин, – нельзя, товарищ Розочкин, нельзя, коллега.

Вы у нас один. Вы нам нужны. Да, вот так. До свидания, коллега.

И Розочкина он не пожалел. А Розочкину так хотелось полежать и почитать журнал. Это ведь очень приятно – полежать с маленьким гриппом, совсем маленьким, чтобы тепло было, уютно, – и почитать. И совсем даже не почитать, а полистать. И подремать.

Под лестницей его поймал майор Ватрушкин.

– А-а, – сказал Левин, – вот так встреча! Что вы тут делаете, старик? Почему вы в халате? Вас опять ранило?

– Подо мною снаряд разорвался, – сказал Ватрушкин и захохотал. – И лекпом наш отказывается лечить. А полковник накричал и к вам наладил. Неудобно, честное слово.

Он взял под руку Левина и пошел с ним рядом. По дороге он рассказал про сына Ивана и про то, что в палате с ним лежат какие-то кошмарные типы. Словом не с кем перекинуться.

– Они, знаете ли, тяжело ранены, – сказал Левин. – Я, между прочим, помню, как вас однажды к нам привезли. Вы тоже тогда не хохотали и не шумели в госпитале, не дай вам бог еще такую же историю.

– Это когда меня в грудь ударило?

– Нет, в живот. В грудь – это еще ничего. И потом – разве это вас ударило в грудь?

– А не меня? – сказал, несколько обидевшись, Ватрушкин.

– Да, да, теперь вспоминаю, – сказал Левин. – Но это все вздор по сравнению с животом. Так значит – Иван! Интересно, очень интересно! Ну что ж, пойдете в перевязочную, я вас посмотрю.

В перевязочной Ватрушкин разделся, и Александр Маркович обошел его кругом.

– "Стремим мы полет наших птиц..." – напевал Левин негромко. – Да, есть на что посмотреть, – сказал он, – и все мои швы. Знаете, если вдуматься, то это почти перелицованный костюм. Вы помните, как мы вам тут делали новую спинку? И недурная спинка, а?

– Недурная! – согласился Ватрушкин.

– А живот? Если сейчас вспомнить, то мы тоже с ним немало помучились.

Ватрушкин с уважением посмотрел на свой живот.

А Левин мыл руки и, задумавшись, насвистывал что-то печальное и сложное. Погодя он занялся чтением газет, и центральных и местных, и не заметил, как вошел Дорош. Потом взглянул на него с изумлением и воскликнул:

– Нет, вы только посмотрите! Вы – прочитайте! Жив Курилка, отыскался след Тараса...

В "Северном страже" было напечатано письмо в редакцию, подписанное несколькими людьми. Письмо называлось "Где авторы видели подобных летчиков", а внизу были

подписи, и первой значилась – полковник м. с. Шеремет. Речь в письме шла о постановке местного самодеятельного ансамбля и о том, что авторы "исказили и оклеветали любимые народом образы".

– Оперяется, прохвост, вылезает! – вздохнул Дорош.-Он по разоблачениям мастак. В свое время и на вас писал, что вы в Германии учились и что нечего вам тут делать.

– Мне? – удивился Александр Маркович.

Он опять перечитал письмо в редакцию. Каждое слово дышало негодованием, и если бы Левин в свое время сам не видел эту постановку – смешную и милую, – он бы поверил Шеремету. Но спектакль Александру Марковичу нравился, и, кроме того, он знал Шеремета...

– "Клевета... – прочитал Левин, – в лучшем случае близорукость, а если присмотреться внимательно..." К чему присмотреться?

– Намекает, – произнес Дорош, – что, вы его забыли? Он всегда намекал, особенно в писанине. Как начнет строчить... Бросьте, не расстраивайтесь, товарищ подполковник.

23

В воскресенье утром он застал у себя в ординаторской Калугина. Инженер стоял у карты и точно бы не видел ее.

– Здравствуйте, – сказал Левин. – Какие новости?

– А вы не знаете?

– Нет, не знаю.

Калугин засмеялся счастливым смехом.

– Ёй-богу, ничего не знаете?

– Даю вам слово.

– Их сейчас привезут сюда, – сказал Калугин. – Они живы.

– Кто?

– Экипаж Плотникова, вот кто! Понимаете? Весь экипаж Плотникова.

– Идите вы к черту! – сказал Левин. – Как это может быть? Столько времени!

– А я вам говорю! – крикнул Калугин, словно испугавшись, что всего этого и в самом деле может не быть. – Я точно знаю. За ними уже катер пошел, а жена Курочки – Вера Васильевна – сидит у меня в землянке. Вы ведь даже не знаете, чего я тут натерпелся. Она к нему в отпуск приехала, а он не вернулся с задания. И к Плотникову с главной базы кто-то приехал...

Он был в необыкновенном возбуждении, этот обычно спокойный и молчаливый инженер.

Торопясь и радуясь, но довольно бессвязно он говорил, что они совершили какой-то грандиозный подвиг, что подробности не известны никому, кроме командующего, что они представлены к Героям и что будто бы они из глубокого немецкого тыла наводили наши самолеты на фашистские караваны и на отдельные крупные транспорты.

Левин снял очки, надел их и покачал головою.

– Нет, это удивительно! – воскликнул он. – Это невозможно себе представить. Вот вам и Федор Тимофеевич, вот вам и добрый день! Что же мы сидим? Надо пойти подготовить палаты! Надо им создать замечательные условия! Э, но какие можно создать условия, когда тут нет ни одного цветочка!

Позвонил телефон, и Дорош сказал, что санитарные машины идут на пирс.

– У меня есть автомобиль, – сказал Калугин, – я вас подвезу. Но вам уже можно? Говорят, вы тут чуть-чуть не померли? Но теперь все в порядке?

Левин усмехнулся и не ответил. Если бы он мог поверить, что теперь все в порядке! Конечно, как каждый человек, и он иногда думал, что Тимохин не солгал ему. Он думал так вчера от двух до трех часов ночи. Но потом подумал иначе. А вообще об этом не стоит думать.

– Что же, поедем? – спросил Александр Маркович.

На воздухе у него слегка закружилась голова, совершенно как у выздоравливающего. Калугин познакомил его с женою Курочки, и Левин удивился: жена Курочки была очень красива и, наверное, выше его на голову. И еще одна девушка в пуховом платке тоже подошла к Левину и сказала ему:

– Настя.

– Вот с подполковником и поговорите, – посоветовал ей Калугин, – он вам может помочь.

Голова у Левина все кружилась, и ему было трудно слушать, но основную мысль он уловил: эта девушка хочет быть санитаркой или сестрой.

– Ну да, ну да, – сказал Левин. – Отчего же, это вполне возможно. Вы зайдите ко мне. Это второе хирургическое, вам покажут, а моя фамилия – Левин. Хорошо?

– Хорошо! – ответила она робко и радостно. – Но столько я еще ничего не умею. У меня другая специальность... была, – добавила она после паузы.

– Это ничего, – сказал Левин. – Вы у нас подучитесь.

И отвернулся – так все заходило перед ним, запрыгало и закружилось. Но потом прошло, и он увидел командующего, который медленно прохаживался над самой водой, сунув руку за борт шинели. А Зубов стоял неподвижно и устало щурился на блестящий под солнцем залив и на катер командующего, показавшийся из-за скалы.

Сверху же из гарнизона по крутой, скользкой дороге бежали люди – их было очень много – в черных шинелях, в молескиновых куртках, в регланах и унтах, в ярко-желтых комбинезонах. И «виллисы» командиров полков, отчаянно гудя, мчались вниз, чтобы не опоздать.

Сердце у Левина билось учащенно, толчками, глаза вдруг сделались влажными, но это было не стыдно, потому что даже Зубов, человек, известный своей суровостью, все время с грохотом сморкался, очень часто отворачивая полу шинели и доставая оттуда платок. Проще было не прятать платок обратно.

Команды никакой не было, но все люди на пирсе вдруг сами по себе встали «смирно» и замерли, пока катер швартовался. А когда матросы сбросили трап, такая сделалась тишина, что почти громом показался топот санитаров, вынесших первые носилки. Какая-то женщина в платочке, странно закидывая назад голову и раздвигая руками летчиков, пошла вперед. Это была Шура – Левин узнал ее, – жена штурмана плотниковского экипажа. Она упала бы возле носилок, если бы не Зубов, который поддержал ее и повел за носилками. Потом показались вторые носилки, и к ним кинулась та девушка, которая назвала себя Настей. Ее тоже пропустили, и она пошла рядом с носилками до самой санитарной машины, которую пятил, вывернувшись назад, Глущенко. Было очень тихо, и только Глущенко говорил умоляющим голосом:

– Товарищи офицеры, ну, товарищи офицеры, попрошу вас раздаться. Невозможно же работать, товарищи офицеры.

Потом, видимо, Плотников сказал что-то смешное, потому что рядом с носилками раздался хохот и пошел волнами – все шире и шире, и Левин увидел командующего, который тоже смеялся и укоризненно качал головой.

– Что он сказал? – крикнул кто-то за спиною Левина, и смех стал еще громче и веселее. Было неважно, что сказал Плотников, но важно было то, что он вообще говорит и шутит, что он есть, что он вернулся.

И толпа так сомкнулась, что шофер Глущенко взмолился отчаянным, визгливым голосом, и это тоже всем показалось ужасно смешно и забавно.

– Товарищи офицеры, – просил Глущенко, – вы ж мне машину раздавите. Товарищи офицеры, не давите на стекла. Товарищи офицеры, или мне комендантский патруль вызвать?

После Плотникова понесли Курочку. Инженер лежал на высоко взбитой подушке, гладко выбритый, со следами пудры на ввалившихся щеках, и улыбался недоверчиво, растерянно и как-то иначе, чем раньше. А рядом с ним шла жена, та жена, которая

причинила ему столько горя, – высокая, статная, в хорошо сшитом сером костюме, гладко причесанная, и поглядывала на всех вокруг равнодушно и немного недоумевающе, словно еще не понимала, что произошло и почему все так торжественно и счастливо встречают ее ничем не примечательного мужа. И хоть она ему не писала, или если писала, то не так, как писали другие жены, – теперь она шла рядом с носилками и рука ее была где-то возле подушки, словно нынче она признала своего мужа. За Курочкой понесли еще носилки, и незнакомый врач из морской пехоты что-то быстро и старательно докладывал командующему, который кивал головою и приговаривал:

– Добро, ну, добро, отлично, молодцами действовали...

Одна «санитарка» уже ушла, теперь уходила вторая, но командующий, увидев Левина, остановил машину и приказал Александру Марковичу ехать с инженером и его супругой. Он так и сказал – «супруга», и глаза его в это мгновение неприязненно и жестоко блеснули.

– И зачем вы выходите! – пожурил он Левина. – Рано вам еще, расхаживать...

Александр Маркович оказался в машине. Снаружи к стеклам, расплющив носы, прижимались какие-то незнакомые лица, но шофер дал газ, и носы пропали, только шум, подобный грохоту волн, еще долго доносился с пирса.

– Ну что? – спросил инженер Левина, точно виделись они час назад.

– Да вот так...

– Это моя жена – Вера Васильевна, – сказал Курочка.

И улыбнулся, словно ему было чего-то неловко.

– Суровые у вас края! – произнесла женщина, повернувшись к Левину. – Ни дерева настоящего, только камни да море...

Она говорила, словно читая книгу, а Курочка с жадной нежностью смотрел на нее, и казалось, что он не верит, что это она, его жена, что она приехала сюда, что и видит ее и слышит ее низкий, глубокий голос. А Левин молчал, поджав губы, и думал: "Поскорее бы госпиталь, скорее бы кончилось это унижение..."

– Ты через денек-два уезжай! – сказал жене Курочка. – Трудно тут тебе будет и... тоскливо...

У госпиталя тоже стояла толпа летчиков, но тут командовала Анжелика, а с нею шутки были плохи, особенно в тех случаях, когда она находилась при исполнении служебных обязанностей. Толстая, на коротких ногах, в черной шинели, подпоясанной ремнем, с решительно поджатыми губами, с сизым румянцем на налитых щеках, она расхаживала возле госпиталя и грозно посматривала на молчаливую толпу. Потом спросила:

– Чего собрались? Все равно в отделение никто пропущен не будет.

Издали робкий голос нерешительно произнес:

– Просим сообщить, как с ними и что. Нам интересно, мы однополчане.

Анжелика всмотрелась в толпу и ответила только тогда, когда узнала "однополчанина".

– Вот я доложу, Кротов, вашему командиру полка, что вы безобразничаете, – сказала она, – тогда будет вам вовсе неинтересно.

– Ну и на здоровье, – ответил издали Кротов женским голосом, – мы вас не испугались. Малюта Скуратов, а не медработник!

– И Малюту доложу, – крикнула Анжелика, – любым женским голосом можете говорить, я все равно узнаю. Закройте двери, Жакомбай, и без меня никого не выпускайте.

На Жакомбая можно было вполне положиться – уж он-то не впустит.

В вестибюле Анжелика сбросила шинель, заглянула мимоходом в зеркало и пошла надевать халат и косынку. Потом медленно – она всегда ходила не торопясь, – делая смотр всему, что попадалось на глаза, зашла в палату, где лежал Черешнев – стрелок-радиотехник плотниковского экипажа. Новичок дремал. В другой палате, рядом, Левин толковал с докторами-терапевтами насчет состояния здоровья Курочки. А Вера Васильевна, позевывая, перелистывала журнал, словно военинженера и не было здесь.

"Разве это человек! – патетически подумала про Веру Васильевну Анжелика. – Это только красивая самка и более ничего, да, да, более ничего".

У Плотникова сидела незнакомая женщина, и он ей что-то говорил медленно и значительно, а она плакала обильными и счастливыми слезами. "Это жена, – подумала Анжелика, – или будет настоящей женой". Жена штурмана Гурьева, – Шура, сидела низко склонившись к мужу и что-то ему шептала, а он прижимал к губам ее ладонь. И все это вместе вдруг расстроило Анжелику. Она сердито засопела и спросила в коридоре незнакомое летчика, как он сюда попал и кто ему выписал пропуск. У летчика пропуска не было, и у второго – капитана – тоже не было, и еще у двух не было. Взбешенная Анжелика, стуча каблуками и ставя ноги носками внутрь, выскочила на крыльцо. Жакомбая там не было, а вместо него стояла Лора и чему-то смеялась. Незнакомый стрелок-радист угощал ее тыквенными семечками, она весело их лузгала и говорила кокетливо:

– Уж вас только слушай! Уж вы наскажете! Нет, нет, слушать даже не хочу!

– Воскресенская, пройдите за мной! – сказала Анжелика.

Лора прошла. И тотчас же быстрым шепотом заговорила:

– Жакомбая товарищ подполковник Дорош отсюда сняли. Что бы было! Кок-то Онуфрий про подполковника Левина выразился, что все равно ему не жить, потому что ничего ему даже и не вырезали, а просто как было все зашили. Будто ему все известно, а от кого ему известно, мы хорошо знаем. Там две санитарки были, когда флагманский хирург руки мыл, они и слышали. Ну и дальше стал говорить Онуфрий-то, что его Левин наказал, а он этого не простит. Сидел бы, говорит, да о своей смерти думал, нечего на людей кидаться, когда самому жить всего ничего. И выразился по-хамски. А Жакомбай как на него наскочит! Даже пена изо рта пошла – не верите? Это все сделалось как раз, когда все на пирс отправились героев наших встречать. Ну, которые выздоравливающие – все, конечно, за Жакомбая, второй кок – Сахаров – даже в слезы ударился. Не могу, говорит, я с таким змеем работать, у него, говорит, воспаление злости на все человечество. Девочки наши тоже все разволновались. Верка до сих пор плачет, а майор Ольга Ивановна даже капли пила, не верите? Так это хорошо, что вы в это время тут не были и не переживали, просто счастье ваше. А что я тут стою, так это мне подполковник Дорош приказали. Стань, говорит, Лорочка, тут и смотри, чтобы все нормально было!

– Хорошо! – сказала Анжелика. – Но что же такое, по-вашему, «нормально», когда полон госпиталь товарищей летчиков набрался и никто понятия о пропусках не имеет. Какой-то кошмар!

В коридоре Анжелика встретила Жакомбая. Он был бледнее обычного, но держался спокойно и на вопрос Анжелики, чем все кончилось, ответил, что получил взыскание.

– Серьезное?

– Справедливое! – сухо ответил Жакомбай.

Один глаз Анжелики вдруг наполнился слезою, нос густо покраснел, она всхлипнула, сильно сжала руку Жакомбая возле локтя и сказала прерывающимся голосом:

– Спасибо вам за подполковника Левина, Жакомбай. Разумеется, это не следовало делать на военной службе, но как человек, как гражданин я не могу не поблагодарить вас, не могу не высказать вам, что вы...

– Не надо высказывать, – совсем сухо перебил Жакомбай. – Ничего не надо высказывать. Я плохо поступил, неправильно поступил. Разрешите мне идти?

И вышел, аккуратно затворив за собою дверь.

К вечеру, едва улеглась суматоха с плотниковским экипажем, начальник госпиталя созвал к себе совещание. Судя по его тону, ожидалось крупные бои и в связи с этим большие поступления раненых. Готовы ли врачи? Есть ли заминки, неувязки, неполадки? Какие будут вопросы?

Было задано несколько вопросов. Полковник ответил. И, отвечая, почему-то смотрел на Александра Марковича.

– Больше ни у кого вопросов нет? – еще раз спросил полковник.

– У меня лично никаких вопросов не имеется! – подавляя раздражение, подчеркнуто официальным голосом сказал Левин.

Дополнительно начальник госпиталя сообщил, что на помощь извне в дальнейшем рассчитывать будет невозможно. Кто не справится, пусть пеняет на себя. Впрочем, в особых случаях своевременно данные заявки начальников отделений учтутся. У кого имеются такого рода заявки?

И, барабая по столу пальцами, он исподлобья оглядел своих подчиненных. Потом взгляд его остановился на Левине.

Все молчали. Промолчал и Левин.

– Значит, ясно? – спросил полковник.

– Абсолютно ясно! – ответил Левин и поднялся. Ему было душно и хотелось на воздух. Кроме того, он много ходил сегодня, и, наверное, поэтому в желудке вновь возникло ощущение тяжести. А во время совещания он почувствовал и боли тоже. Вечер был не холодный, уже весенний, но с залива приполз такой густой мозгло-молочный туман, что в двух шагах совершенно ничего не было видно. Опираясь на палку, Левин постоял на крыльце, потом сел на скамеечку, сделанную Жакомбаем еще прошлым летом, и стал вглядываться в белую пелену, плотно облепившую весь городок.

Ощущение тяжести прошло, дышать стало легче, и на мгновение он вдруг почувствовал себя молодым, здоровым, веселым, таким, что ему и черт не брат и море по колено. "А что, – подумал он, – я и в самом деле не очень стар! Вот кончится война, поеду на юг, буду купаться в теплом море, пить кислое вино, есть виноград. И вернусь загорелым, черным, таким, что меня никто не узнает".

– Отдыхаете? – спросил кто-то из тумана. Голос был знакомый, но он не узнал его сразу. И ответил осторожно:

– Отдыхаю. А кто это?

– Вольнонаемный! – ответил голос, и Александр Маркович почувствовал, что человек, который подходил к нему из влажной белой тьмы, пьян.

Синяя лампочка над крыльцом госпиталя на одно мгновение осветила длинный белый нос кока Онуфрия, и вновь лицо его исчезло в тумане.

– Разрешите обратиться? – спросил кок Онуфрий. Левин вздохнул и разрешил. Если бы он был волевым командиром, он прогнал бы Онуфрия вон.

– Разрешите сесть? – спросил опять Онуфрий.

И сесть тоже Левин разрешил, обругав предварительно себя за то, что распускает людей. Помолчали. Руководящий повертелся на скамейке и вздохнул два раза. "Сейчас храпеть будет, – почему-то подумал Левин. – Вот и хорошо. Он уснет, а я уйду".

– Обидели вы меня, товарищ подполковник, – еще раз вздохнув, сказал кок, и в голосе его Левин услышал не обиду, но злобу, ничем не сдерживаемую, давящую.

Стараясь не поддаваться этому тону, он ответил почти шутливо:

– Не понравилось дрова колоть?

Кок молчал. От залива потянуло холодом, Левин поднял воротник реглана.

– Не понравилось, – с вызовом сказал кок. – А чего тут нравиться? Даже интересно – чего же тут может нравиться?

– С горя и напилсь? – спросил Левин и сразу же почувствовал, что этого вопроса задавать не следовало.

– Я не напился, а выпил, – сказал Онуфрий. – Это две разницы – напиться и выпить.

Почему не выпить, если отгульный день? Вполне можно выпить. И безобразия я никакого не делаю. Сажу себе тихо, покуриваю. Может, вы желаете закурить?

Левин не ответил.

– Не желаете? Пожалуйста, если не желаете, я со своим табаком не лезу. А что обидно, товарищ подполковник, то обидно. На всех угодить невозможно. Который человек больной, ему что ни подашь – все трава. Больной человек никакого вкуса не имеет, у него температура, и ему только пить подавай – воды. Думаете, я не понимаю? Я никакой не кашевар, я, извините, в старом Петрограде в ресторане «Олень» работал, не скажу что шефом, но именно помощником работал и все своими руками делал. Я, товарищ

подполковник, любое блюдо могу подать и любой соус приготовить. Например, соус кумберлен – кто приготовит? Я. Или тартар к лососинке – пожалуйста, или бешемель для курочки. Да что говорить – филе миньон, пожалуйста, с грибами и почечками, консоме, претаньерчик, бульон с пашотом, борщок с ушками, селяночку по-купечески – отчего не сделать? Или, допустим, дичь, или жигу баранье, или десерт любой – пожалуйста. А тут – здрасте – не угодил. Сержанту, понимаете, Ноздрюшкину да солдату Понюшкину не угодил! А тот Ноздрюшкин со своим Понюшкиным – чего понимают? Картошки с салом да сало с картошками – вот и все их понимание!

– А знаете, Онуфрий Гаврилович, – вдруг перебил Левин, – нет ничего хуже вот такого лакейского пренебрежения к Ноздрюшкину и Понюшкину. Вы что – людей презираете, что они не знают, какой это такой соус кумберлен? Ну, и я не знаю, что такое соус кумберлен.

– Не знаете?

– Не знаю.

– А когда не знаете, – сказал Онуфрий, – когда не знаете...

И замолчал.

Потом усмехнулся и вновь заговорил, жадно посасывая свою самокрутку.

– Никто не знает, а все указывают. Каждый человек указывает, и даже некоторые берут и наказывают. Не понравился руководящий Ноздрюшкину с Понюшкиным. Не угодил. Они хотя и больные, но они указывают, они командуют, они жалобы предъявляют. Как же это понять, товарищ подполковник?

– А так и понять, – спокойно ответил Александр Маркович, – так и понять, что там, у вашего ресторатора, на всех ваших нэпманов вы работали старательно, работой интересовались, а тут, на наших солдат и матросов, на наших офицеров, работаете из рук вон плохо, варите такую дрянь, что в рот взять невозможно, да еще и презираете людей, проливших за родину свою кровь, называете их Ноздрюшкиными и Понюшкиными... От пицци вашей воротит...

– Кого же это воротит? – чуть наклонившись к Левину, спросил Онуфрий. – Раненых? Так ведь им что ни подай, все едино жрать не станут. Им все поперек глотки...

– Неправда, я тоже пробую...

– Вы?

– Я!

– А вы-то, извиняюсь, здоровый? – еще ближе наклонившись к Левину, спросил Онуфрий. – Если уже откровенно говорить, то и вы не очень здоровый.

– Позвольте...

– Чего ж тут позволять, товарищ подполковник, когда вы вовсе нездоровый человек, и всем это известно. Вы на себя посмотрите, как вас совершенно невозможно даже узнать.

Левин отстранился от Онуфрия, почувствовал, что надо уйти, но не ушел.

– Я действительно болен, – сухо сказал он, – но тем не менее всегда и безошибочно отличал вашу кухню от кухни вашего помощника Сахарова, и притом в невыгодную для вас сторону. Сахаров хоть и обыкновенный флотский кок и кумберлена не знает, однако он человек, а вы... дурной человек. Что же касается до меня, то предупреждаю вас, что теперь мне сделали операцию, и пока я еще на диете, но в ближайшее время я буду снимать пробы со всего вами изготавливаемого, и буду строго взыскивать.

– В ближайшее время? – с сочувствием и интересом спросил Онуфрий.

– Да, в ближайшее, – не совсем уверенно повторил Александр Маркович.

Онуфрий усмехнулся и pokrutil головой.

– Что же вы видите в этом смешного? – сухо и строго спросил Левин. Сердце его билось учащенно.

– Смешного ничего, – произнес Онуфрий. – Но только пробы вам снимать нельзя. Надо вам себя беречь, а не пробы снимать. Не такое теперь время вашей жизни, чтобы снимать пробы.

– Какое же это такое время моей жизни? – спросил Левин и услышал, что голос у него

сухой и строгий.

– А вы не знаете?

– Мне неизвестно, о чем вы говорите.

– Скрыли от вас, – сказал Онуфрий, – чтобы, значит, не волновались вы. А того не понимают, что для вашего здоровья надо в постели лежать, а не по госпиталю от подвала до операционной бегать, того не понимают, что при вашем характере вы в месяц кончитесь, потому что нервничаете вы сильно и все до самого сердца принимаете. Вам и пробы снять надо, и белье госпитальное до вас касается, и операции, само собою, и лечение...

– Что же они от меня скрыли, по-вашему? – презирая себя за то, что спрашивает об этом, все-таки спросил Левин. – И кто скрыл?

– Да операцию-то ведь вам не сделали, – тихо, с сочувствием в голосе сказал Онуфрий, – посмотрели только и обратно зашили. Небось сами знаете, а говорите – операция.

И, еще раз жадно затянувшись, он плевком потушил окурок.

Некоторое время Левин молчал. Ему показалось, что его ударили молотком сзади по голове. Онуфрий сбоку смотрел на него.

Наверное, прошло много времени, прежде чем Левин справился с собою. Он должен был справиться совершенно. И он справился настолько, что ответил так же сухо и спокойно, как отвечал раньше.

– Да, я знаю, – сказал он. – Так что из того, что я знаю?

Онуфрий засопел. Теперь ему, наверное, стало страшно. И оттого, что Онуфрию стало страшно, Левин почувствовал себя еще увереннее.

– Да, я знаю, – повторил он медленно, – знаю. Некоторое время я надеялся, надежда свойственна всякому человеку, да и теперь мне еще трудно представить себе, как это я скоро умру, но тем не менее это так, – и я скоро умру, но что из этого? Все-таки я остаюсь таким, как был, и надеюсь таким же дожить до самой своей последней минуты. Знаете ли вы, Онуфрий, что такое жизнь? Или не знаете, что она такое? Думали ли вы над нею?

Он говорил строго и немного торжественно, и эта торжественность и строгость все больше и больше пугали Онуфрия. В это мгновение отворилась госпитальная дверь, на крыльце показался Жакомбай и сразу же ушел. Левин молчал, покуда на крыльце стоял Жакомбай, потом заговорил опять строго:

– Жизнь – это прежде всего работа, а работа и есть главное счастье на земле. Но вы этого не понимаете, вы этого не можете понять, потому что работа для вас – мучение, и только плата за работу примиряет вас с жизнью. Я же знаю, для чего я работаю, и огромное большинство нашего советского народа тоже это знает, и поэтому даже с моим нынешним состоянием здоровья я не могу грешить против дела. Погрешить против дела – для меня – погрешить против всего самого главного в жизни, против самой жизни. А вы мешаете этому делу, следовательно мешаете жизни. Всех же мешающих нашей жизни надобно наказывать, и потому я вас наказываю. И буду наказывать, раз вы не исправляетесь, потому что вы не имеете права дурно работать, и будете работать лучше хотя бы из страха перед наказанием...

Кок слушал и сопел, и по тому, как он сопит, Левин понял, что он боится. Но боялся он не того существенного, о чем говорил Левин, а боялся самого подполковника Левина с его властью, и потому Александру Марковичу вдруг стало противно и захотелось уйти.

Не глядя на Онуфрия, он поднялся и медленно пошел в госпиталь, у двери которого с повязкой «рцы» на рукаве прохаживался Жакомбай.

– С этим человеком не надо говорить, – сказал Жакомбай, тревожно заглядывая в лицо Левину, – этого человека списать от нас надо. Какой может быть интерес с таким человеком говорить?

Левин постарался улыбнуться и, не отвечая, пошел в ординаторскую. Там, чувствуя себя утомленным, он лег и прислушался: страшно ли? Нет, страха не было. В сущности, он так и предполагал. Доктор Тимохин не очень умел врать, а он сам, Левин, был не слишком плохим врачом.

"Посмотрите, я совсем не трус, – вдруг подумал Александр Маркович. – Кое-как я смотрю правде в глаза. Иногда это трудно, но в общем ничего. Как-то я справлюсь дальше со своим госпиталем, и со своими людьми, и со всем тем, что меня ожидает до самого моего конца".

Но долго ему не дали думать, потому что явились Леднев и Бобров с докладом насчет работы спасательной машины. Теперь их часто подымали в воздух, и они вытащили из воды еще двоих, спасшихся на резиновой лодке. Вчера их обстрелял сто девятый, но они ушли от него и благополучно «приводнились» дома. Леднев теперь разговаривал как опытный летчик, употребляя, правда, не совсем к месту один авиационный термин за другим. А Бобров помалкивал и улыбался скептически, слушая восторженные разглагольствования Леднева.

Потом пришел Калугин с подробным рассказом об экипаже Плотникова. За точность своих слов он не ручался, но выходило так, что плотниковский самолет был подожжен и сел в Норвегии. Экипаж спасся и много времени шел пешком к линии фронта. Это был немыслимый, невозможный, невероятный переход, но он был действительно. Что же касается до страданий, перенесенных экипажем, то об этом требуется особый рассказ, а вероятнее всего, что все ими перенесенное и вспоминать не стоит. Главное же заключается в том, что на обратном пути им представился случай овладеть фашистским постом связи и наблюдения. Они этим постом овладели с боем. Там оказался один немец – из тотальных мужичков, с головой, давно помявший, что "Гитлер капут". Этот «капут», они его там так и называли – капут, помог им установить связь с германским командованием на побережье. Через рацию поста они сообщались с ВВС, а по специальному телефону поста узнавали о готовящихся к выходу немецких караванов. Представляете себе?

– Нет! – сказал Левин. – Это можно прочитать в "Мире приключений", но этого не бывает в жизни.

– В жизни бывает куда похлестче, чем в "Мире приключений"...

– Это какой-то бред, – сказал Левин. – Это немыслимое дело!

Калугин радостно засмеялся и закричал, что вовсе не бред, именно так и было. Некоторые летчики из торпедной авиации сами слышали голос Плотникова, когда он наводил их машины на фашистские транспорты. Плотников там сидел, в этой избенке поста связи, и наблюдал и наводил. И с ним еще один "Гитлер капут", который сдался и от страха помогал им во всем. Но самое интересное, конечно, Федор Тимофеевич. Этот тихий человек, ученый, конструктор и молчальник, оказался блестящим боевым командиром. Вообще, там была такая обстановка, что можно было сойти с ума, а он держался совершенно спокойно и показал просто чудеса.

Александр Маркович слушал и кивал головою, старое лицо его все светилось радостью, а Калугин говорил и говорил, и было похоже, что он рассказывает не историю из жизни, а приключенческую картину, которую он видел в кино.

– Впрочем, – вдруг сказал он, – знаете, доктор, тут ведь масса всего наворотилось. Они еще почти ничего сами не рассказывают, а то, что с ними было, уже обрастает легендой любящих и почитающих их людей, правда перепутывается с восторженным вымыслом, у меня у самого от всех подробностей пухнет голова. Вот и сейчас рассказывал вам и не знаю, что правда, а что неправда. На аэродроме существует по крайней мерс дюжина разночтений, а каждое разночтение содержит дюжину вариантов. Но сущность-то, основа верная. Подвиг совершен, и подвиг серьезный. Вы слышали, что вопрос об их спасении решался очень большим начальством?

– Да, слышал.

– Отсюда можете заключить значимость их дел. Левин кивнул.

Верочка принесла чаю в стаканах, клюквенный экстракт и два сухарика Александру Марковичу.

– Хотите сухаря? – спросил Левин.

Калугин по рассеянности съел оба сухаря и опять принялся рассказывать. Глаза его

блестели от возбуждения, он несколько раз вскакивал и, когда вошла Анжелика, вдруг обнял ее за плечи и спросил:

– Подходящая пара, Александр Маркович? Выходите за меня, Анжелика, у меня в Москве на Маросейке роскошная комната, и мы там сошьем себе наше гнездышко.

– Я терпеть не могу пустую болтовню, – сказала Анжелика сурово, но «л» выговорила как «в». У нее тоже было прекрасное настроение.

24

В палате было полутемно, и возле спящего Гурьева по-прежнему сидела Шура. Левин еще днем велел поставить ей кресло, но в кресле она сидела, как на стуле, ровно и прямо.

– Проснулся немного, – сказала Шура, вставая перед подполковником, – попил воды, огляделся и говорит: "Я еще чуток вздремну, Шурочка". Ничего не рассказывает, и слабый, видно, очень. Опасное у него ранение, товарищ подполковник?

Александр Маркович сказал, что неопасное, что он только чрезвычайно переутомлен и находится в нервном состоянии. И, конечно, истощение сильное.

Своей большой рукой он взял запястье Гурьева и, шевеля губами, стал считать пульс – хороший пульс спящего человека со здоровым сердцем.

– Прекрасно, – сказал Левин, глядя на Шуру, – великолепно. С таким сердцем можно пойти обратно, туда, откуда он пришел, пошуметь там еще с полгода и без всякого риска вернуться обратно. Надо же иметь такое железное здоровье!

Глаза у Шуры повеселели, а он покивал головой и, жуя губами, пошел к Плотникову. Там тоже в кресле, забравшись на него с ногами, сидела девушка, назвавшая себя давеча Настей, и при слабом свете ночника читала толстую книгу. Левин молча опустился на край кровати, посмотрел в лицо Плотникову и только хотел спросить у Насти, просыпался ли он, как Плотников открыл глаза, вздохнул и, точно продолжая прерванный разговор, сказал:

– Там, видишь ли, было много времени для размышлений, и вот, когда меня особо мучила рука...

Глаза его выразили удивление, он улыбнулся и, взглядываясь в Левина, произнес:

– Простите, пожалуйста, подполковник, я задремал, а в это время вы тут очутились. Здравствуйте! Что это вы так похудели? Работы много?

И, продолжая улыбаться, по-прежнему взглядываясь в Левина светлыми, блестящими и серьезными глазами, добавил:

– Очень рад вас видеть.

– Так мы ведь уже виделись, – сказал Левин, – и разговаривали даже.

– Да? – несколько не удивился Плотников. – Я теперь, знаете ли, многое стал забывать. Странное состояние. Это пройдет?

– Обязательно. Вам только спать побольше надо.

– Я и сплю все время. Там спал, куда нас вначале доставили, на катере спал и тут сплю. А может быть, это я умираю?

Левин улыбнулся и покачал головой.

– Нет, – сказал он, – вы не умираете. Так не умирают.

Плотников вздохнул, помолчал, потом ответил:

– Ну и отлично, если не умираю. Впрочем, это все по-разному бывает. Вот я Настеньке давеча рассказывал, что там у меня был период, когда самым трудным казалось не застрелиться. Меня рука тогда очень мучила, и вообще положение было безнадежное, так вот Федор Тимофеевич и придумал формулу, что ты, дескать, Плотников, сейчас затрудняешься жизнью.

– Затрудняешься жизнью? – с удивлением повторил Левин.

– Да, так он сказал – затрудняешься жизнью. И тебе надо через этот период перейти, потому что ты командир и большевик, ты коммунист Плотников, и ты обязан перейти через этот рубеж так же, как через все иное перешел. Вот это и было самое трудное. Слышишь,

Настенька?

Настя кивнула головой и еще ниже наклонилась к Плотникову.

– Устал, – сказал он. – Вот так десять слов скажу и устану... Надоело это состояние, подполковник. И сам я себе надоел с этой слабостью и болями.

Он брезгливо поморщился и закрыл глаза. Левин еще посидел немного, глядя на Плотникова и думая о тех словах, которые он только что сказал, потом поднялся, взявшись рукою за изножье кровати, и сразу же почувствовал, что идти не может. Где-то близко словно бы зазвонил ему в уши колокол, от этого колокола помчались радужные, колеблющиеся круги, и тотчас же все стихло, оставив только одну нестерпимую и острую боль, которую он не смог скрыть и не смог вытерпеть. Хрипло застонав и услышав свой стон, он привалился к изножью плотниковской койки и пришел в себя уже раздетым и уложенным на вторую кровать в той же палате, где лежал Плотников. То, что он лежит вместе с Плотниковым, почему-то обрадовало его, но тут же ему стало неловко, и он громко сказал Насте, по-прежнему сидевшей в кресле с ногами:

– Напугал я вас, а?

Ольга Ивановна зашикала на него, но он не обратил на ее шиканье никакого внимания и опять спросил:

– Очень стало страшно? Это у меня теперь бывает, боли такие дурацкие, но они быстро проходят. Полежу немного и встану, правда, Ольга Ивановна?

Ему почему-то казалось, что лежит он недолго, что еще вечер, и, помолчав, он спросил:

– Раненых не привозили?

– Не привозили, – ответила она, – но наступление началось.

Он слегка приподнялся и заглянул ей в глаза.

– Правда?

– Правда. Рассказывают, что командующий повел штурмовиков, а лучше сами послушайте!

И она сделала движение головой кверху и замерла. Он тоже напрягся и даже закрыл глаза, чтобы лучше слышать: длинное, сильное и смутное гудение идущей армады машин донеслось до него.

– Мы с полчаса на крыльце стояли, – сказала Ольга Ивановна, – все слушали. Идут и идут. Как начало светать, так и пошли. Сколько тут служу в авиации, никогда не думала, что так много у нас машин. Даже смотреть страшно.

И она улыбнулась почему-то растерянно.

– Ну, хорошо, – сказал Александр Маркович, – вы себе идите, дорогая, а этой девушке скажите, чтобы отвернулась. Я одеваться буду.

Ольга Ивановна хотела что-то сказать, но промолчала. Он оценил это ее молчание и как бы в благодарность потрепал ладонью ее локоть. Потом поднялся, принял душ в еще пустой госпитальной душевой и долго брился перед маленьким зеркальцем, стараясь не замечать страшных изменений, происшедших с его лицом. Затем пришел чистый подворотничок к кителю и, поднявшись в ординаторскую, велел принести себе чаю покрепче. Чай ему принесла Анжелика – сизо-красная, суровая.

– Вот что, Анжелика, – сказал он ей, вылавливая ложечкой чайнку из стакана, – попрошу вас иметь теперь всегда наготове шприц и прочее необходимое мне. Пусть эти наборчики в пригодном для употребления виде будут и в операционной, и в перевязочной, и, например, тут. Вы понимаете мою мысль?

Анжелика кивнула, и это получилось у нее похоже на поклон.

– А теперь мы с вами немножечко займемся терапией, – продолжал Александр Маркович. – У меня дела осталось еще порядочно, и я хотел бы подольше иметь приличную форму. Эта мысль вам тоже понятна? Да вы садитесь, Анжелика, я сейчас рецепты буду писать...

И он принялся выписывать рецепты, вздев на лоб очки и порою ненадолго задумываясь. Он выписал раствор атропина, разведенную соляную кислоту, пантокрин, а

потом подробно, иногда раздражаясь и даже покрикивая по старой привычке, обсуждал вместе с Анжеликой диету на будущее, и было похоже, что речь идет не о самом докторе Левине, а о совершенно постороннем человеке, об одном из тех, кто лежит сейчас в госпитальных палатах.

Когда диета была тоже выяснена, Александр Маркович облачился в халат, положил в карман пачку папирос и пошел в приемник, где поджидала раненых Ольга Ивановна. Но раненых не было пока что ни одного человека, и им обоим – Левину и Варварушкиной-стало от этого поспокойнее. Подполковник посидел тут еще с полчаса и отсюда отправился в палату к Курочке, с которым еще не говорил толком, потому что возле него постоянно скучала его красивая жена, попавшая сюда, в эту их жизнь, словно с другой планеты и чем-то раздражавшая Левина. Но сейчас Веры Васильевны не было, Хоть ее недавнее присутствие и ощущалось по запаху крепких, непривычных в госпитальных палатах духов. Инженер не спал, и по его взгляду Александр Маркович увидел, что Курочка обрадовался ему.

– А, доктор! – только произнес он, но это значило гораздо большее.

– Доктор, доктор! – передразнил Левин, и это тоже значило гораздо больше того, что он сказал. – Доктор. Я много лет доктор, и что из того?

Он сел. Они оба помолчали, потом инженер подмигнул ему одним глазом и шепотом сказал:

– Нагнитесь сюда, я вам привез кое-какие новости.

– Именно?

– Дело в том, что я придумал для нашего с вами костюмчика то самое усовершенствование. Помните, мне что-то не нравилось в костюме. И вы на меня орали. Кстати, вы по-прежнему орете?

– По-прежнему! – ответил Левин с вызовом.

– Так вот, сейчас бы вы, конечно, на меня наорали, – продолжал Курочка, – но я у вас в госпитале. И поэтому у меня преимущество. А теперь разрешите вам напомнить суть дела: летчик, как вам известно, может падать и в бессознательном состоянии. Следовательно, он может упасть лицом вниз. А если он упадет лицом вниз, то так или иначе захлебнется, пусть даже наш костюм и сработает полностью. Просто лицо летчика будет погружено в воду, понимаете?

– Понимаю, – сказал Левин. – Из-за этого мы и законсервировали работу.

– Еще бы не законсервировать! Значит, дело в том, чтобы обеспечить падающему автоматический поворот на спину. Этот автомат я и сконструировал на досуге. Поправлюсь – испытаем. Просчета быть не может.

У Левина сделалось испуганное лицо.

– Где же это вы придумали? Там? – спросил он, показав рукою на окно.

– Нет, не там, – улыбаясь, ответил Курочка, – там, куда вы изволили показать, – Москва. Я же был в другой стороне.

– А ну вас к черту! – крикнул Александр Маркович. – Что же вы мне голову морочите? Вы же понимаете, о чем я спрашиваю. Вы придумали это в тех обстоятельствах?

Курочка помолчал, потянулся и ответил наконец подробно.

– Дорогой Александр Маркович, – сказал он, – некоторое время мы жили там чрезвычайно спокойно, и это спокойствие при полной безнадежности будущего было самым страшным для всех нас. Работа же отвлекала меня, например, от мыслей насчет безнадежности и бесславного конца жизни. Кроме того, мне казалось, что в крайнем случае я буду иметь возможность радировать сюда нашим кодом все то, что будет мною сработано, и, странное дело, эти мысли взбадривали меня, настраивали меня на сентиментальные, по не лишённые основания мысли по поводу единственного бессмертия, в которое мы способны верить. Да и в самом деле, смешно нам с вами предполагать, что души наши впоследствии будут принадлежать, допустим, кошечкам или собачкам. Так? Следовательно, только дело способно в какой-то мере обессмертить человека. Я не раздражаю вас длинными разговорами?

– Нет, – сказал Левин, – почему же? Я и сам об этом думаю довольно часто... – И виновато улыбнулся.

– Я в последнее время стал почему-то много говорить, – тоже улыбнулся Курочка, – жену совершенно заговорил. Она вам, наверное, жаловалась? Впрочем, все это вздор, все от праздности. У вас папироски нет?

– Есть, – сказал Левин. – Но вам я не дам. Вам не надо сейчас курить.

Курочка укоризненно посмотрел на Левина и вздохнул.

– Что же вы там все-таки делали? – спросил Александр Маркович. – Я спрашиваю не потому, что так уж любопытен, а потому, что не представляю себе вас на этой работе. – Он подчеркнул «этой» и значительно посмотрел на инженера. – Или не будете говорить?

– Не буду, – сказал Курочка. – Трудно было, Александр Маркович, вспоминать не хочется. Тут тепло, тихо, спится спокойно, нет, не хочу вспоминать.

И он даже засмеялся от радости, что не будет вспоминать и что тут тепло и спокойно спится. Потом добавил:

– Какао приносят и уговаривают попить, утром блинчиками угощали, а я не доел. Интересно. Вообще, чрезвычайно много интересного. Жена приехала, мы ведь с нею очень долго не виделись, она рассказывает, я слушаю. Не дадите папироску?

– Не дам.

– Вам просто жалко.

– Ну и что?

Пришла Анжелика и вызвала его в сортировочную. Прибыли раненые.

– Оттуда? – спросил он по дороге.

– Нет, – строго ответила Анжелика, – несчастный случай. Какая-то поперечная пила сломалась и поранила их. Они из тыла.

Достоуважаемый майор!

Вот Вы удивитесь: Ваш-то муж, Ваш-то генерал к нам приехал! Можете себе представить! Сам лично, собственной персоной его великоление наш академик! И что страху нагнал, и что только делалось, и как мы все трепетали!

Чтобы не забыть – спасибо за фуфайку. Но должен отметить – лучше бы занимались панарициями, нежели вязанием фуфаек. Фуфайка хороша – спору нет, но ведь Вы у нас доктор, а для вязания фуфаек Ваше образование не нужно.

Спасибо за книжки. Книжки хорошие, но я их читал. Вообще, сейчас все совсем иначе, чем когда-то. Мы – фронтовые хирурги – получаем все, что выходит, и читаем все, что получаем. Так что просил бы к нам сверху вниз не относиться.

Могу сообщить Вам свои впечатления о Вашем супруге и моем друге Н. И. Состояние его здоровья – отличное, жизненный тонус не оставляет желать лучшего, как ученый он произвел на всех наших флотских врачей прекрасное впечатление: какая широта, какой живой интерес ко всему действительному, какая способность к анализу, какое умение обобщить, развернуть перспективу, увидеть самое существенное и главное.

Короче говоря, несмотря на все пережитое, Н. И. остался на высоте той моральной чистоты, которая так пленила нас в юном студенте-большевике. Та же невероятная требовательность к себе, то же чисто русское лукавое добродушие, тот же размах и неиссякаемое трудолюбие.

Может быть, когда-нибудь Н.И. расскажет Вам о той роли, которую он сыграл в моей жизни в эти трудные для меня дни. Впрочем, вряд ли. Это не тот характер, который способен рассказывать о себе. Но Вы тем не менее должны знать, что, любя Вашу семью с молодых лет, я нынче еще более ощутил ту спокойную силу, которая цементировала нашу дружбу и которой мы целиком обязаны Николаю Ивановичу.

Ваш муж – золото. Но я тоже молодец. Пожалуйста, не думайте, что я хуже. Я, может быть, лучше, и Вы еще пожалеете, что не вышли за меня замуж. А какой я нынче хорошенький в фуфайке, связанной Вашими ручками!

Еще немного про Вашего мужа.

Мы, хирурги, давали в его честь обед. Обед по нашим прифронтовым условиям был роскошный. Присутствовало наше командование, говорились речи, а один старый врач-хирург, участвовавший еще в прошлой германской в качестве зауряд-врача, даже прослезился. Вопрос, о котором он говорил, был вопрос чисто принципиальный, и говорил старик интересно. Речь шла о народной войне и о том, как народное командование дает воюющему народу все лучшее, что есть в государство, в частности лучших представителей науки в лице, например, Н. И. Говорилось также о том, что мнения таких ученых, как Н. И., в нашей стране имеют решающее значение, что не департаментские чинуши определяют идеи ученого, но совет таких же ученых, и что мы все приветствуем нашего дорогого гостя. Тут все встали и устроили Н. И. форменную овацию. Казалось бы, он должен был поблагодарить в ответном слове, и все бы кончилось умилительно и трогательно. Однако же не тут-то было. Н. И. вынул из кармана свою записную книжку (догадываетесь?), обвел нас всех взглядом и... стал нас бранить, но в какой изящной, в какой милой форме! Он просто нам напомнил кое-что, просто рассказывал, обращал внимание, подчеркивал и т. д. Командующий наш хохотал до слез и, выходя, сказал мне:

– Ну и человечце! Ах, человечце! Вот так баня, ну и баня! Это называется поблагодарил за гостеприимство. Это называется угостили обедом! Как он насчет обморожений-то прошелся! Что, дескать, хотели быть умнее санитарного управления Красной Армии, местничество завели и сели в калошу. Ах, доктора, доктора, ну вы и народ, оказывается! С вами и-и-интересно, с вами не соскучишься!

А надо Вам добавить, что командующий наш фигура весьма примечательная, своеобразная и талантливая.

Видите, как я расписался.

Это потому, что у нас сейчас только и разговоров о Н. И. Вспоминают, хохочут, за голову хватаются, а некоторые испуганы всерьез и спрашивают, чем же это все кончится?

Я тоже не знаю, чем все это кончится.

До свидания. Пишите мне.

Вообще, барыня, Вы мне очень мало пишете. Может быть. Вы думаете, что слова, которые я написал о Вашем муже, имеют какое-либо отношение к Вам? Ошибаетесь! Решительно никакого. Вы явление глубоко заурядное, доктор, позволяющий себе вязать фуфайки, человек отсталый, которому очень следует держаться за переписку со мною, потому что я воздействую на Вас положительно и тяну Вас вверх.

Ваш благодетель и подполковник А. Левин

25

Доктор Баркан постучал к Левину.

– Да! – ответил подполковник.

Сдвинув очки на кончик носа, он надписывал адрес на конверте своим характерным размашистым почерком.

– Вот изложил пребывание генерал-доктора у нас, – сказал Александр Маркович, – его супруге пишу. Мы все друзья молодости, и близкие друзья.

Вячеслав Викторович едва заметно улыбнулся.

– Я уже слышал об этом. И не один раз.

– Разве? – немножко испугался Левин.

Потом отложил конверт в сторону и тоже улыбнулся.

– Что же, все мы люди, все не без греха, – произнес Левин со вздохом. – Не стану лгать, мне было приятно, когда он давеча на обеде сказал обо мне несколько добрых слов.

Человек с большим научным именем, нет государства, в котором не издавались бы его работы... Вы пришли ко мне по делу?

Баркан кивнул, и они занялись делами. Погодя заглянула Варварушкина и тоже присела к столу. Потом с треском распахнулась дверь, стремительно влетела Анжелика и пожаловалась на некоего лейтенанта Васюкова, который уже четыре дня не желает выполнить все то, что от него требуется для различных анализов.

– Ну? – спросил Левин. – Вы желаете, чтобы я обратился к командующему ВВС с рапортом на эту тему?

– Нет, – трагическим басом воскликнула Анжелика, – нет и еще раз нет, товарищ подполковник, но я не желаю подвергаться оскорблениям. Этот Васюкоз в коридоре сейчас попросил меня, чтобы я за него подготовила... анализы... надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь...

Левин хихикнул, но тотчас же сделал серьезное лицо.

– Безобразие! – сказал он. – Я надеюсь, что майор Баркан призовет лейтенанта Васюкова к порядку. Так, товарищ Баркан?

Баркан наклонил свою лобастую голову и тотчас же отправился распекать летчика.

Но ходячий Васюков куда-то запропастился. В шестой палате два голоса печально пели:

Меня не греет шаль
Осенней темной ночью,
В душе моей печаль,
Тоска мне выжгла очи.

Баркан медленно пошел по коридору, потом возвратился и еще послушал.

Осенней ночью я с ним прощалась
И прошептала, как на беду:
С тобою, милый, я здесь прощаюсь,
А завтра вновь я к тебе приду...

Сердце его билось тяжело, глаза горели. Он потер щеки ладонями и почти громко сказал:

– Доктор Левин Александр Маркович, простите ли вы меня?

Впрочем, может быть, он ничего не сказал, а только услышал свою мысль. Но эта мысль была еще неточной, неточно выраженной. В сущности, Александр Маркович вовсе не такое чудо, если присмотреться внимательно. Нужно посмотреть пошире, оглянуться повнимательнее на всех, кто живет и работает, кто вылечивается и поступает в госпиталь.

В палате по-прежнему пели:

Скажите, люди, – ужель иная
И он не любит теперь меня.
Когда-то я ему родная —
Теперь чужая навсегда.

А доктор Баркан все ходил и ходил по коридору и все думал, потирая щеки ладонями. Думал про бутылку шампанского, с которой пришел когда-то к Александру Марковичу, думал про то, как разговаривал с некоторыми ранеными, думал о себе и о своей длинной жизни, и о том, что он здоров и будет жить еще долго, но как-то иначе, а как иначе – он не знал. Но тотчас же обозлился на себя за все эти мысли и отверг их, не замечая того, что, как бы раздраженно он ни отстранялся от собственной внутренней жизни, там, помимо его разума, уже началась своя сложная работа, которая совершалась непрерывно и зависела

только от окружающей его и вечно изменяющейся жизни.

Да и что он мог заметить, когда уже давно жил иначе, чем в первые месяцы своей работы здесь?

Раненых привезли ночью, и не слишком много.

Левин с папирской в зубах спустился в сортировку и узнал, что наступление началось. Работая, он слушал рассказы о том, как и где прорвали опорные пункты противника, как высаживались десанты и каким образом действовала пехота. И постепенно, вслушиваясь в разговоры, понимал, что эти раненые иные, чем раньше. Это были сплошь раненые-победители, необычайно обозленные тем, что им не удастся встретить день победы на фронте, а придется встречать его в госпитале.

Им было что рассказать, и то, что они рассказывали тут, в сортировке, сразу уходило наверх по палатам. Спящие просыпались, в коридорах было полно ходячих больных, тут пересказывалось со всеми подробностями то, что привезли с собою из наступления «новички», назывались фамилии моряков, пехотинцев и летчиков, номера полков и дивизий, и то и дело кто-нибудь вдруг вскрикивал шальным голосом:

– Это ж мои! Мои пошли! Товарищи дорогие, это ж мои пошли!

И в сортировке раненые говорили Александру Марковичу примерно одно и то же: что с такими ранениями, как у них, отправлять в тыл смешно, что они позориться не желают, что они напишут рапорты куда следует и что кое-кому не поздоровится. Особенно наускакивал и петушился очень бледный старшина с перевязанной головой, в немецком ботике вместо сапога. У старшины были не мецкие сигареты, он их всем предлагал и в лицах показывал, как он с ребятами выбросился с «катеришек», как они залегли и тотчас же сделали бросок вперед и уже пошли не останавливаясь, так как фашисты бегут.

– Вот бегут! – кричал он. – Морально они кончены, понимаете, товарищ военврач?

А у меня пулеметчики. Они мне говорят: перевяжешься – и сразу обратно дуй, нам без тебя как без рук. А меня за конверт и в кружку. Товарищ военврач, я вас убедительно прошу!

– На стол! – сказал Левин.

Трое других прикидывали, сколько осталось до полной капитуляции фашистов, и все выходило так, что они успеют обратно в свои части только к полному шапочному разбору.

Дорош в углу в чем-то убеждал толстого, очень расстроенного полковника, который ежеминутно прикладывал руку к груди и говорил:

– Послушайте, я ведь не сумасшедший, по столько времени ждать этого часа и оказаться на госпитальной койке, посудите сами, не глупо ли это? У меня в дивизионе отличный врач, широкообразованный, не коновал какой-нибудь...

– Здравствуйте, – сказал Левин, – что за базар? Тут не торгуются, полковник.

Сейчас мы вами займемся. Приготовьте мне полковника. А у вас что, лейтенант? Ничего?

Вы попали ошибочно? Очень приятно. Здравствуйте, товарищ матрос! Легкое ранение, не затронувшее костей и кровеносных сосудов? Александр Григорьевич, тут один матрос, он по образованию врач, разберитесь. Сам все знает. Это что за герой, Ольга Ивановна? Болит?

Очень? Можно дать пока что морфий, Ольга Ивановна. Послушайте, старшина, не изображайте тут в лицах все сражение, слишком шумно для госпиталя. Товарищи, это же майор Седов. Здравствуйте, майор! Сколько лет, сколько зим! Вас сбили? Вы не летали? Но вы же в штурмовой? Извините ради бога. Александр Григорьевич, идите скорее сюда, тут начальник нашего наградного отдела. Ну? Как это вас угораздило?

Майор лежал со значительным выражением лица, улыбался и молчал. Потом попросил Левина наклониться к нему и произнес шепотом:

– У меня во всех карманах ордена и документы. Тридцать девять орденов. Попрошу, чтобы приняли и записали по акту. Поехали на аэродром подскока – туда только что сели наши машины – и заехали к фашистам. Поверите, фрицы с автоматами прямо в машину залезли. Шофер лихой – газанул, мы и удрали. Но ордена меня невероятно беспокоят.

Покуда Седов сдавал ордена, все на него смотрели. Ну и майор! Тридцать девять

орденов, из них одиннадцать Красного Знамени. А с виду парень – ничего особенного.

Майор лежал розовый, застенчивый, серьезный. Дорош писал акт, положив на колени папку. Два матроса смотрели, смотрели, потом тот, что потолще и почернее, сказал:

– Да, товарищ, об таком хозяйстве можно беспокоиться. Тридцать девять орденов. С ума сойти!

Седов приподнял голову с подушки, хотел что-то ответить, но промолчал.

Ответил другой матрос, пожиже и посветлее:

– А у нас с тобой по одному, и больше уже не будет, нет.

– Будет, будет, – сказал Левин, – война еще не завтра кончится. Покажите-ка вашу руку, кавалер. И локоть тоже? И плечико? Как это случилось?

Настя, та самая, которая целыми днями сидела у Плотникова, тоже была тут и работала, робко и застенчиво улыбаясь, когда ее изысканно благодарили моряки.

– Привыкаете? – спросил Александр Маркович.

– Привыкаю, – ответила Настя.

– А вы кто по специальности? – спросил он, вглядываясь в Настю.

– Да так, никто, – ответила она, краснея.

Александр Маркович прооперировал полковника, проводил взглядом каталку и вздохнул: операция была нелегкая, а у полковника пошаливало сердце. Опять привезли раненых, но уже знакомых – из авиации. Это были техники, которых с брющего обстрелял штурмовик на аэродроме подскока.

– От же бандиты, от же ж хулиганы! – возбужденно говорил пожилой техник с висячими усами. – На обмане действовали, вот вам крест, святая икона. У них сто семьдесят машин без моторов – сам щупал, своими руками. Коммуникации перерезаны, морем не подвезешь, так эти бандюги их нарочно держали – безмоторные машины, – чтоб нам с воздуха казалось, якие они на самолеты богатые. Винты из фанеры, сам щупал. Хотите фашистский железный крест, товарищ доктор? Справдашний, на ихнем КП с мундира снял. Ну что вам подарить? Пистолет «вальтер» не хотите?

– Хочу, чтобы вы помолчали! – сказал Левин. – Это вам вовсе не полезно – вот так трещать, словно сорока.

– Это оттого, что я выпивши трохи, – сказал техник. – Меня как ударило, ребята сейчас же: Иона Мефодиевич, давай фашистского рому прими, он от шока помогает.

– Шок! – удивился Левин. – Какие слова они знают, эти ваши ребята...

Ночью в операционной у него начались боли. Лора ловкими пальцами, слегка побледнев, ввела подполковнику пантопон. Баркан смотрел на Александра Марковича остановившимися глазами. Оперированный всхрапывал на столе.

– Ничего, все в порядке, – сказал Левин. – Анжелика, дайте мне щипцы Люэра.

Сержанта переложили на каталку и увезли. Левин пошел к умывальнику, но больше не оперировал. К столу встал Баркан. Александр Маркович сел на табуретку и просидел так до шести часов утра, изредка давая советы в деликатной, полувопросительной форме. В эту ночь все понимали, что происходит что-то значительное, важное, гораздо большее, чем тот факт, что оперирует Баркан, а Левин только присутствует. У Лоры часто на глаза навертывались слезы, и Анжелика сделалась какой-то другой – словно бы вдруг оробела. Баркан слушал беспрекословно, и большие уши его почему-то теперь не раздражали Левина. Он даже подумал: "Драли его, наверное, за эти самые уши. И хирург он недурной – находчивый, быстро соображающий".

В шесть работа кончилась.

Вдвоем они вышли из операционной.

Баркана слегка пошатывало от усталости. Анжелика принесла им в ординаторскую чай. Было уже совсем светло, солнце взошло давно, наступила полярная, солнечная весна. Левин отворил окно. Над заливом кричали чайки. Гулко, басом захрипел гудок какой-то посудыны. Война ушла далеко, так далеко, что тут теперь летали почти только транспортные самолеты. Александр Маркович закурил папиросу и заговорил о сегодняшних операциях. У него был

каркающий голос, но Баркан не слышал раздражения во всем том, что говорил Левин.

Потом, перегнувшись к нему через стол, вздев по своей манере очки на лоб, Александр Маркович сказал:

– Послушайте, Баркан, вам приходило в голову, что у меня должен быть заместитель?

Баркан молчал.

– Не приходило? Послушайте, бросьте вашу этику провинциального Баркана. Вы – военный Баркан. Будем говорить как мужчины, будем смотреть друг другу в глаза. У вас есть опыт и есть возраст. У вас есть кое-что из хорошей школы. Впрочем, оставим этот предмет. Я повторяю вам: мне нужен заместитель.

– Зачем? – спросил Баркан.

– А вы не догадываетесь?

Баркан на мгновение опустил свою квадратную голову. Лоб его пошел морщинами, он запыхтел. Потом взглянул на Левина и ответил почти резко:

– Ну, знаю. Ну, догадываюсь. Но вы меня терпеть не можете.

– Дело не в личных симпатиях и антипатиях, – сказал Левин, – дело в моем отделении и в его будущем. Дело также в некоторых традициях нашего госпиталя. Ольга Ивановна прекрасный врач, но она молода и у нее пылкая голова. Мне нужен заместитель. Понимаете?

– Я и замещаю вас, – ответил Баркан, – я же ваш помощник. Но, кажется, вы говорите не об этом.

– Да, я говорю не об этом, – жестко сказал Левин. – Впрочем, мне некогда нынче разводить антимонии. Пока я справляюсь с собою, вы будете у меня кое-чему учиться. Потом вы останетесь тут сами. Понимаете? Ну, пришлют еще врача, а я хотел бы знать, что тут вы. Но, черт подери, не тот вы, которого я грубо ругал, а тот вы, который еще может из вас вылупиться. Послушайте, Баркан, в глубине души вы думаете, что я самодур, а вы хороший, знающий доктор, так ведь?

– Я знающий доктор, но вы не самодур, – сурово сказал Баркан.

– В общем, не будем больше говорить об этом сейчас, – сказал Левин, – такие вещи не решаются разговорами. Надо немного поспать, а потом опять заняться делами. Хотите еще чаю?

Когда Баркан ушел, Левин сел на окно и закурил еще одну папиросу. По-прежнему кричали и дрались чайки. Светлое облако – пушистое и легкое – несло по небу. Лора стояла на крыльце в халате и косынке, а давешний старшина с усиками влюбленно и нежно смотрел ей в глаза, держа ее руки в своих ладонях.

"С добрым утром!" – сказал диктор. А доктор Ленин сидел на своем подоконнике с искаженным страданием лицом. Нет, ему не было больно. Ему просто было хорошо и легко, и от этого так ужасно трудно.

Почти со злобой он хлопнул окно. Но тут же, стиснув зубы, он вновь открыл створки и заставил себя еще поглядеть на весеннее утро, на блеск воды в заливе, на косо летящих чаек. Лицо его разгладилось. Сердце стало биться почти спокойно.

И ровной походкой, шаркая подошвами, он пошел к себе в палату. Теперь он жил в палате, потому что все-таки в подвале было страшновато. Или не страшновато, но одиноко. Или даже не одиноко, но скучно, да, да, скучно. И зачем ему подвал? В палатах есть места, и раненные ближе, и мало ли что.

Плотников спал, лежа на спине. Лицо у него было строгое, командирское. Недаром он жаловался, что по ночам ему снится, как он приказывает. "Все военные сны, – говорил он улыбаясь, – гражданских больше не вижу. Пропишите мне, подполковник, один хороший гражданский сон".

Утром он опять был в операционной. Сам он не оперировал, он только смотрел и советовал. Потом военфельдшер Леднев доставил на бывшем спасательном самолете

шестерых тяжелых, и одного из них прооперировал Александр Маркович. Спасательный самолет сейчас работал и как санитарный, и Бобров это теперь одобрял. Накануне они вытащили из фиорда летчика – это тоже чего-нибудь да стоило.

– Ну как? – спросил Александр Маркович.

– Кончаем фрица, – поглаживая макушку, сказал Бобров. – Труба его дело.

Он улыбался, стоя в ординаторской, покуривал и балагурил.

– Коньяку дать? – спросил Левин.

Точно почуяв коньяк, пришел Калугин с большой папкой, выпил рюмку и отправился к Курочке показывать свой последний аэровокзал.

– На конкурс посылаю, – похвастался он Левину, – уверяю вас, что это лучший проект из всех возможных. Не верите? Впрочем, Курочка разругает. Он всегда ругает, и довольно верно.

Курочка уже ходил, и Плотников ходил, и ленивый Гурьев тоже мог ходить, но больше полеживал – он любил лежать и теперь отлеживался за все километры, которые прошел пешком. Лежал у раскрытого настежь окна на легком сквознячке, перелистывал журналы и вдруг говорил:

– А то есть еще кушанье – вареники с вишнями. Подают их на стол холодными, и сметану к ним в глечике, и еще отдельно холодный вишневый сок с сахаром. Я в одном санатории кушал, так я до того докушался, что у меня сделалась температура сорок и положили меня в изолятор. Было подозрение на менингит.

Или говорил, что хорошо бы сейчас выпить одну бутылочку пивка с солеными сухариками.

– Ты морально деградируешь! – сказал ему Плотников.

– Я не деградирую, а нахожусь в отпуску, – ответил Гурьев. – В отпуску человек должен отдыхать и набираться сил. Верно, товарищ подполковник?

Левин посмеивался молча. Ему нравилось сидеть у них, когда они вот так пререкались ленивыми голосами. Нравились их шутки, их голоса, нравилась Шура, которая как-то принесла в палату толстого маленького сына Гурьева, нравилось, как отец с некоторым испугом посмотрел на своего сына и сказал:

– А что, хороший парень. Видишь, шевелится весь. Шура с укоризной посмотрела на мужа, а он щелкал мальчику пальцами и говорил издали:

– У-ту-ту, какие мы этого... толстые... у-ту-ту...

Плотников стоял поодаль, иронически прищурившись и высвистывая вальс. И всем было видно, что Гурьев боится остаться наедине с Плотниковым, боится, что тот будет его дразнить, и потому сам над собою подсмеивается, надеясь этим способом парализовать будущие шутки.

Стрелок-радист плотниковского экипажа – огромный и молчаливый Черешкев – тоже был симпатичен Левину. Он лежал долго, дольше всех, и был очень слаб, но даже в трудные для себя дни читал толстые книги из госпитальной библиотеки и делал из них выписки на блокнотных листиках. И было почему-то приятно смотреть, как он пишет маленькими, бисерными буквочками и подчеркивает со значением: три черты, две, одна волнистая, два прямая.

– Что это вы изучаете? – спросил его как-то Левин.

– Да ничего, товарищ военврач, культурки маловато – вот и работаю, – сказал он. – Из госпиталя меня демобилизуют, поеду на работу в район, неудобно...

Он вдруг покраснел пятнами и добавил:

– Заслуженный, награжденный, можно сказать большой человек, а кроме как рацию обладать или из пулемета дать огоньку, знаний не имеется. Мне майор Плотников общие указания дает, а я уж сам кое-что прорабатываю.

Иногда возле Черешнева сидела девушка – высокая, розовая, с круглыми бровями, и они шептались, а то просто молчали, подолгу вместе глядя в окно, за которым бежали пушистые белые облака. И было видно, что они любят друг друга и что им даже молчать

вдвоем нескучно.

Как-то вечером во второе хирургическое пришел командующий. Раненые и выздоравливающие только что поужинали, няньки собирали по палатам тарелки и чашки, где-то на втором этаже тихонько пели хором. Вечер был холодный, как часто случалось тут, за полярным кругом, небо заволкло тяжелыми тучами, каждую минуту мог пойти снег, и все-таки в палатах было уютно, светло и в некоторых даже весело.

– Смирно! – скомандовал Жакомбай в вестибюле, и няньки, догадавшись, кто пришел, опретью побежали со своими подносами, утками и суднами.

Что-то упало и разбилось вдребезги.

Выздоровливающий полковник басом захохотал, поскользнулся на кафелях и едва не свалился. Командующий же, сдержанно улыбаясь, постучал в палату к Курочке и открыл дверь. Полковник все еще хохотал за углом в коридоре и рассказывал кому-то, давась и захлебываясь:

– Она как брякнет поднос да как побежит! Убиться надо!

– Здравствуйте, подполковник! – сказал командующий. – Можно к вам?

Тут был и Левин. Командующий сел и заговорил тихим голосом, как все очень здоровые люди, попадающие в больницу. Он принес хорошие вести насчет спасательного костюма. Дурных отзывов нет, впрочем...

Тут командующий помолчал и усмехнулся.

– О Шеремете не забыли? – спросил он вдруг.

Курочка и Левин переглянулись.

– И он нас не забыл, – сказал командующий. – По слухам, внимательно к нам откосится. Мелкие недоделки есть в вашем спасательном костюме – он их отметил добросовестно, каждая недоделка под номером...

– А что он там делает, Шерemet-то? – спросил Александр Маркович.

– По науке товарищ разворачивается, – сказал командующий, – отозвали его в Главное Управление, видать, без него как без рук. Что ж, повоевал, все правильно, не подкопаешься.

Взгляд его стал жестким, ненадолго он задумался, потом, встряхнув головой, перешел на другую тему:

– Да, вот так. С войной закругляемся, скоро перейдем на мирное положение. Уйдете от нас, Федор Тимофеевич?

Инженер помолчал, потом спросил:

– А куда, собственно, уходить? У меня тут целый ряд испытаний подготовлен, как же мне их бросать? Нет, товарищ командующий, сейчас мне уходить расчету нет.

Посмеялись немного, хоть ничего особенно смешного сказано не было. Посмеялись потому, что наступила минута, когда следовало спросить Левина о его планах, спрашивать же об этом было невозможно. И рассказали два не очень смешных анекдота про союзников.

– Да, вот так, – опять сказал командующий и во второй раз вынул портсигар.

– Ничего, товарищ командующий, курите, – сказал Левин, – одну папироску можно, тем более что Курочка сам курит во все тяжкие.

– А вы бросили?

– Зачем же мне бросать? От таких мероприятий я ничего не выиграю, – сказал Левин, – а удовольствие потеряю. Я ведь курильщик давний. Еще когда меня мой хозяин шпандырем учил – покуривал.

– А вы сапожничали?

– Было дело под Полтавой, – сказал Левин.

Они закурили. Командующий далеко отставил руку с папиросой и негромко спросил, как Александр Маркович себя чувствует.

– В общем ничего, – ответил Левин. – С работой справляюсь.

– Нет, медленно, слишком медленно ваша наука разворачивается! – сурово сказал генерал. – Мало еще можете, товарищи доктора, совсем немного. Ну чего особенного вы достигли за последнюю сотню лет?

Левин порозовел настолько, насколько еще мог розоветь, и ответил резко:

– Мало? А нам, врачам, отдали за последние сто лет хоть один день той энергии, которая отдается на войну? Хоть один день тех умственных сил, один день со всеми горами денег, которые тратятся на эти войны?

Командующий тоже на мгновение рассердился:

– Я, знаете, не этот, не поборник войн и не поджигатель их...

– Да я не о вас, я в принципе говорю! – оборвал его Александр Маркович. – А вообще-то, товарищ командующий, судить можно и нужно, зная предмет, судить же, да еще и осуждать – не рекомендуется. Тысячи прекраснейших людей отдали свою жизнь медицине, ничего не достигнув, а некоторые достигли удивительных результатов, поверьте, не для того, чтобы любому профану позволительно было утверждать...

– А разве ж я утверждаю? – примирительно начал командующий, но подполковник опять перебил его.

– Лев Николаевич Толстой был великим художником, гением, гордостью России и всего человечества, – говорил он, – но когда начинал рассуждать о науке – любому земскому врачу становилось неловко. О докторам и медицине вы все судите совершенно так же, как я, допустим, сужу о достоинствах и недостатках многомоторных бомбардировщиков...

Командующий усмехнулся и опять хотел что-то сказать, но Левин уже мчался, горячася с каждой минутой все больше и решительно не позволяя перебивать себя.

– Нет, это удивительно! Просто удивительно! – говорил он. – Хирургия, например, вплотную подошла сейчас к стойкому излечиванию психических заболеваний, представляете себе? Хирургия еще экспериментально, но уже борется с такими вещами, как склероз сердечной мышцы. Да, черт меня возьми, тридцать-сорок лет назад операции по поводу аппендицита не производились, аппендицит как заболевание не распознавался. Как хочешь: хочешь выжить – живи, а нет – помирай. А нынче от этой болезни не умирают, понимаете? Просто-напросто не умирают, потому что один процент смертности это и не смертность даже. Да что говорить, когда мы делаем невероятные, огромные, удивительные успехи...

И, заикаясь от волнения, он стал рассказывать о том, как лечили сто лет назад и как лечат теперь. Он называл имена врачей-ученых; не замечая, произносил сложные термины, Даже притопывал ногой, как делают это настоящие заики, до тех пор, пока речь его не полилась страстно, вдохновенно и даже счастливо. Чертя в воздухе длинным пальцем, Александр Маркович рассказывал о последних удивительных операциях, о том, как совершенно обреченным людям возвращали жизнь, о том, что ждет человечество, о том, на что можно надеяться в ближайшие послевоенные годы, и карканье его разносилось так мощно и так далеко по коридору, что Анжелика, сделав губы дудочкой, догнала на лестнице Ольгу Ивановну и сказала ей значительно:

– Наш-то! Самому командующему целую лекцию закатил. Кричит даже.

Командующий слушал, блестящими глазами глядя на Левина. И Курочка тоже слушал, слегка приопустив веки, постукивая пальцами по краю стола. Отворилась дверь, вошел Плотников в халате, взглядом спросил командующего, можно ли присутствовать, и сел на кровать.

– Да вот хоть бы Плотников, – закричал Левин и притопнул ногой, – пожалуйста, прошу любить и жаловать. По всем законам старой хирургии, и не очень старой, по всем законам мы должны были ему руку ампутировать, и совсем еще недавно тут ничего и обсуждать не пришлось бы. А нынче доказано, что на верхних конечностях, даже в случае разможжения суставов, можно не ампутировать. Статистика и наблюдения показывают, что консервативное лечение путем иммобилизации, переливания крови, хирургической обработки раны в современном понимании обработки – это такое лечение достигает цели и без применения ампутации. Вот мы Плотникову руку и сохранили. В локте она у него неподвижна, но кисть работает, и хорошо работает. Плотников, покажите командующему руку, он медицине из верит.

Плотников показал, хоть командующий и верил, но Левину всего этого было еще мало,

и он опять заговорил – теперь про Ватрушкина.

– Вот вы за него нас благодарили, – говорил Александр Маркович, – и не зря благодарили, но только не нас, а вообще хирургию надо было благодарить. Будь наш Ватрушкин ранен в живот с повреждением кишечника пятьдесят лет назад, он неизбежно должен был погибнуть, а нынче мы таких раненых возвращаем к жизни и к работе. Ну хорошо, Ватрушкин – Ватрушкиным, а вот опухоли, например, пищевода.

И он обвел всех вдруг молодыми и блестящими глазами.

– Опухоли пищевода, да! Я не боюсь об этом говорить, понимаете? Сейчас уже семьдесят процентов оперированных спасаются. Семьдесят! А еще пятнадцать лет назад все раки пищевода заканчивались гибелью. Понимаете вы мою мысль? Понимаете вы, что я верю и вера моя не слепа, я верю и знаю, и всегда буду верить, и не боюсь верить даже в нынешние мои трудные дни. Ну? Почему вы опустили головы? Товарищ командующий, а помните, как вы сказали мне в сорок первом, когда фашисты нас били и бомбили, помните? Вы сказали: "Военврач Левин, мы их разобьем так страшно, что веками поколения будут вспоминать этот разгром!" Вы сказали мне это, товарищ командующий?

– Сказал, – негромко ответил Василий Мефодиевич. – Странно было бы, если бы я сказал иначе.

– А не странно бы было, – спросил Левин, – если бы я, хирург, испугавшись собственной смерти, отказался от всего того, чему посвятил жизнь? Нет, я прожил свою жизнь бок о бок с легчиками, с нашими легчиками, и они меня кое-чему тоже научили...

Он сел, побледнев. В палате было тихо. А рядом пели:

Ведь он сказал мне, что уезжает,
Просил забыть он обо всем.

Отворилась дверь, Баркан просунул голову и, спросив у командующего разрешения обратиться к Левину, вызвал его в операционную.

– Отвратительно так терять людей, – вдруг сказал командующий, – отвратительно. Если бы нам не мешали, если бы к нам не лезли, если бы мы могли все силы отдать науке, что бы уже сделали наши люди, чего бы они добились...

27

Потом, сразу после того как перестали поступать раненые, Левин начал слабеть. Первое время Александр Маркович не хотел замечать эту слабость, сопротивлялся ей и даже стоял, опираясь на палку, тогда, когда можно было вовсе и не стоять. Но наступили такие дни, когда силы совсем оставили его, и тогда он распорядился поставить себе кресло на террасу, чтобы "набираться здоровья на воздухе".

Кресло ему поставили в углу, на солнце, но теперь ему часто делалось холодно даже под двумя одеялами, даже в теплом халате и зимней шапке.

Тут он слушал последние сводки Совинформбюро и тут, в своем кресле, встретил День Победы. Это был удивительный день – с солнцем и пургою: серебряные, сверкающие снежинки крутились в холодном, прозрачном воздухе, все время где-то неподалеку играли оркестры, и на террасе было много здоровых людей, которые пришли к своим раненым товарищам, чтобы порадоваться вместе с ними. Тут, на террасе, качали Дороша, обнимались, целовались и даже покачали Анжелику, которая совершенно утратила всякую власть в эти часы.

Потом сюда вдруг пришел командующий с генералом Петровым. Он посидел молча на ветру в шинели и фуражке, а когда его попросили сказать что-нибудь, он встал и, оглядев лица молодых людей, заговорил негромким, осипшим голосом.

– Мне очень трудно нынче говорить, – сказал он, – потому что большего дня в моей жизни не было. И трудно собраться с мыслями, подвести итоги и сказать самое основное.

Одно могу заявить: горжусь и до смерти буду гордиться тем, что правительство и наша партия доверили мне в эти годы счастье командовать такими людьми, как вы.

Он говорил долго и вспоминал трудные дни первого года, вспоминал начало полного господства в воздухе, вспоминал великое наступление. И называл имена погибших, называл сражения, вошедшие в историю авиации, называл фамилии рядовых летчиков и знаменитых героев.

– Вот Плотников, – сказал он вдруг, и все повернулись к Плотникову, который багрово покраснел и опустил голову. – Да ты не красней, Плотников, – продолжал командующий, – в такой день можно и не краснеть, коли говорят о подвиге...

Потом он говорил о Ватрушкине и стрелке-радисте Черешневце, о Курочке и Гурьеве, о Паторжинском и Боброве, о Левине и Ольге Ивановне. И все выздоравливающие оборотились к Левину, который сидел в своем кресле, утирая пальцем слезы со щек, а где-то внизу за госпиталем гремели оркестры и по-прежнему на террасу косо летели сверкающие на солнце снежинки.

После обеда снегопад кончился, и весь снег сразу растаял, стало тепло, и залив сделался таким сверкающим, что на него больно было глядеть.

Лора перетащила кресло Александра Марковича к самой балюстраде. Баркан принес ему сильный бинокль, и он стал смотреть на пирс, где перед отходом на родину молились норвежские моряки. Их маленькие кораблики стояли у стенки, а ихний священник в своей кружевной мантии подымал и опускал руки над сотнями склонившихся голов, и мальчик-служка – тоже в кружевах – звонил в колокольчик и ходил за чем-то перед рядами молящихся. А за креслом Левина стоял Курочка и негромко рассказывал ему о Норвегии и о том, как норвежцы похоронили одного нашего летчика близ селения. Имя летчика осталось неизвестным, но рыбаки видели, как он дрался над их деревней, и на могильном камне высекли: "Русскому спасителю нашей отчизны".

– Сейчас домой отправятся, – сказал Федор Тимофеевич, – а потом найдутся люди, которые их научат забыть, как все это было...

А вечером опять слушали радио и мерный бой кремлевских часов. С террасы ушли в ленинский уголок и сидели там почти до утра. Радио все время говорило, передавался репортаж, и все слушали, как празднует столица великий праздник. Часа в два пришел Калугин с тремя бутылками шампанского.

– Откуда такое богатство? – спросил Александр Маркович.

– Съездил в город и купил, – ответил Калугин. – Было шесть, но три мы по дороге выпили. Машина встретила с истребителями, поздравили друг друга.

В дверь заглянул Баркан.

– Идите-ка сюда, майор! – позвал Левин.

Три бутылки разлили в семнадцать стаканов, и один стакан Александр Маркович протянул Баркану. Баркан принял, понимающе глядя на Левина.

28

Потом начались мирные дни.

Выздоровливающие играли неподалеку от Александра Марковича в шашки, или шумно забивали "морского козла", или что-нибудь рассказывали – «травили», как говорят на флоте, – или с очень серьезными лицами устраивали пышные шахматные турниры. Иногда же просто смотрели на залив и переговаривались тихими голосами. А Левин дремал и сквозь дремоту слушал пульс своего второго отделения. Тут все шло нормально, потому что иначе бы ему доложили. А если не докладывали, значит все идет хорошо.

У него часто теперь бывали гости – Тимохин и Лукашевич, флагманский хирург Алексей Алексеевич Харламов, даже Нора Викентьевна навестила его.

Но он не особенно им радовался. Они ничего не могли ему рассказать про его отделение и про его выздоравливающих. Впрочем, когда Тимохин удалил осколок из головы

одного левинского раненого, тогда Александр Маркович был рад Тимохину и приказал накормить его хорошим обедом.

– Но хорошим! – строго сказал Александр Маркович. – По-настоящему! Вы слышите меня, Анжелика?

Однажды Лора рассказала ему, что на флот «прибыл» Шеремет, и действительно полковник скоро навестил Левина. Он теперь курил какие-то душистые иностранные сигареты, у него были новые часы на широком платиновом браслете, и, разговаривая, в паузах он напевал, загадочно глядя на Александра Марковича. Глазным образом он рассказывал о загранице – о Вене и других городах, где что-то такое инспектировал, а потом, в заключение, он произнес длинную фразу, смысл которой заключался в том, что у него доброе, отходчивое сердце и что зла, причиненного ему людьми, он не помнит.

– А насчет костюма нашего чего-то там пакостите? – оборвал его Левин.

– То есть как это? – возмутился Шеремет.

– Очень просто. И не прикидывайтесь овечкой – я ведь вас насквозь вижу. Вот жалко – помирать скоро, а то бы я вас допек...

– Черт знает что вы говорите! – совсем обиделся Шеремет. – Я к вам по-дружески, а вы...

– А я по-вражески, потому что весь ваш облик мне противопоказан, – жестко, хоть и слабым голосом сказал Александр Маркович. – И статейку тоже написали преподлую, и не верите вы ни в бога, ни в черта, и на новой должности занимаетесь угодничеством и хвостом перед начальством размахиваете. Я думал, станете врачом, хоть средним, а все-таки не без пользы. Но ведь лечить-то трудно. Прощайте, надоело...

Шеремет обиделся и встал. Но Левину показалось, что он сказал еще не все.

– А приехали вы сюда теперь я знаю зачем: налаживать отношения. Чтобы врагов не было. Нет, товарищ полковник. Они у вас есть и будут. Зря приехали.

Вконец обозлившись, Шеремет ушел.

А Левин пожаловался Лоре:

– Тоже явился. Нужно мне его сочувствие.

По несколько раз в день приходил Баркан, чтобы посоветоваться с Левиным. Он солидно сидел на стуле против Александра Марковича, по-прежнему разговаривал несколько сухо, но Левину было с ним нетрудно, хоть и случалось, что голос Александра Марковича поднимался до прежнего сердитого карканья. Бывало, он настолько нехорошо себя чувствовал, что просил Баркана прийти попозже, и Баркан приходил. Приходила и Ольга Ивановна, и другие врачи, и Жакомбай, и Анжелика, но больше всего он почему-то в это время привязался к санитарке Лоре. Она просиживала возле него очень подолгу и непрерывно трещала языком, а он слушал с удовольствием, не отпускал ее и просил:

– Расскажите еще, Лора. Мне интересно вас слушать.

Лора облизывала острым красным языком малиновые губы, задумывалась на мгновение и спрашивала:

– Да про кого рассказывать-то, крест святая икона, не знаю. Вот, например, про военинженера товарища Курочку. Хотите? Только потом не скажите, что я сплетница и что у меня язык без костей. Ольга Ивановна вечно меня сплетницей ругает. Сама мне рассказала, что очень ей нравится тут один человек и что она его не может спокойно видеть, а теперь надулась, что я с Верой поделилась. А разве я могла с Верой не поделиться, когда она самая моя лучшая подруга? Или вы несогласны? Ну хорошо, про товарища Курочку будем говорить. У него-то ведь жена не очень хорошо к нему относилась. И, действительно, подумать, какая фамилия. Например, маникюрша или парикмахерша обязательно скажут — мадам Курочка, отчего не доставить себе удовольствие, верно? Ну и сам из себя военинженер не очень видный, хотя и чистенький и культурный мужчина, тут спорить невозможно. Волосики серые, личико маленькое, очкастый, ну что хорошего? А она женщина красивая, представительная, говорят – до войны даже полная была. Ну, а теперь что получилось? Теперь она увидела, что не в красоте дело. Наверное – это я не для сплетни,

товарищ подполковник, а просто делюсь с вами, – наверное, я так думаю, предполагаю так, наверное, у нее даже увлечения были. Знаете, в тыл кто ни приедет с фронта – всякий герой, хоть нашего кого возьмите, скажет про себя – я матрос, и всех делов. А Курочка-то оказался хоть и Курочка, но полностью герой. Им Героев-то присвоили – вы знаете? Или вы уснули, товарищ подполковник?

– Нет, Лорочка, я не сплю. Значит, теперь хорошо у них?

– Еще как хорошо. Вера там в палате как раз была, когда он своей жене чего-то сказал, а она в ответ: "Нет, я не понимала, кто ты, и не ценила тебя". Вера прямо-таки навзрыд зарыдала. Она ведь, товарищ подполковник, чересчур нервная. Все, ну все переживает. Капли пила, не верите? А сейчас опять переживает, что эта самая Вера Васильевна совершенно даже неискренняя и только лишь притворяется...

– Вот-те новости! С чего же ей притворяться?

– А с того, что писем слишком много до востребования получает. Непременно у нее кто-либо еще имеется, кроме военинженера.

– Да ну вас, Лора, слушать противно.

– Вот видите, Александр Маркович, а сами просили рассказать. Я же не из головы, я то, что мы между собой делимся. А про старшину, про Черешнева, хотите расскажу?

– Расскажите.

– Это тоже про любовь. Вот, значит, есть у него тут симпатия – Маруся из столовой, она там в хлеборезке и на кухне. Очень сурьезная девушка, скромная такая, ну просто недотрога. Хотя и – ничего из себя не воображает.

Лора рассказывала, а он слушал, и картины жизни – доброй и вечно живой, в ее постоянном движении, в непрерывной смене событий – работа, любовь, чей-то ребенок, ревность, слезы и многое другое, – картины эти бежали перед ним непрерывной чередой. Но иногда он прерывал Лору и приказывал ей позвать Дороша, или Баркана, или Анжелику, или Ольгу Ивановну. Они приходили, и он говорил им что-нибудь, например спрашивал, каков сегодня обед. И если Баркан не знал, Левин сердился, но ненадолго, потому что забывал, на кого и за что сердился.

Однажды он велел позвать кока Онуфрия. Кок пришел бледный от ужаса и, вытирая тряпочкой лицо, долго разглядывал уже неузнаваемого Александра Марковича. А Левин забыл, для чего позвал кока, и только сказал ему:

– Так-то, товарищ повар. Это вы мне говорили какое-то там «дефруа-гра»? Нехорошо!

– Что нехорошо – Онуфрий не понял, но ушел, едва волоча ноги.

Иногда же память совершенно возвращалась к нему, он оживлялся, глаза его светились прежним блеском, и каркающий голос разносился по всей террасе. И выздоравливающие смеялись его шуткам, рассаживались вокруг его кресла и рассказывали ему новости. Многих выздоравливающих он узнавал и, путая их фамилии, вспоминал с ними войну и разные забавные истории, приходившие ему на память.

В такой день однажды Ольга Ивановна позвонила командующему и сказала негромко, будто Александр Маркович мог услышать с террасы:

– Товарищ командующий, докладывает майор медицинской службы Варварушкина. Вы приказывали позвонить вам, когда подполковнику станет легче. Он сейчас в хорошем состоянии.

– А, да, спасибо, буду, – сказал командующий, – через час или немного позже буду обязательно.

Ольга Ивановна вернулась на террасу. Александр Маркович сидел откинувшись в кресле, Лора, раскрасневшись, рассказывала ему какую-то трогательную историю про усыновленного четырьмя офицерами ребенка.

– Тут командующий, наверное, наведается, Лорочка, – сказала Ольга Ивановна, – я пока в лаборатории буду, а подполковник Баркан оперирует. Понятно?

– Понятно! – сказала Лора.

Ольга Ивановна ушла. Лора хотела было рассказывать дальше, но не стала, заметив

сосредоточенный и суровый взгляд Левина. Это был какой-то новый взгляд, которого она не видела никогда раньше.

– Может, вам нехорошо, товарищ подполковник? – спросила она.

– Нет, мне прекрасно, – ответил Александр Маркович, – сердцебиение только как будто, но это теперь у меня часто бывает.

– Рассказывать?

– Рассказывайте, – сказал он.

Ока стала рассказывать дальше, как у мальчика заболели зубки и как доктора, словно назло, не могли отыскать, а надо было непременно оперировать.

– Оперировать? – спросил Александр Маркович своим прежним каркающим голосом.

И потом долго слушал не прерывая.

Лора рассказала всю эту историю и начала другую, про одного матроса, который влюбился в девушку-летчицу. Левин тоже молчал, выслушал все и вдруг поднялся.

– Никого невозможно дозваться! – сказал он. – Можно сорвать голос, и никого нет.

Двое выздоравливающих повернулись к Александру Марковичу. Упали и рассыпались шахматы.

– Пора идти! – сказал Левин.

– Куда? – спросила Лора. – Зачем вам идти?

Он усмехнулся своей старой, немного виноватой усмешкой. Но не ответил Лоре, а еще громче повторил:

– Пора идти. Смешно – болею, болею, а болезни все вздор. Что болезни, правда? Дайте мне халат, приготовьте больного, и начнем.

Он все еще стоял. Что-то соколиное, гордое, прекрасное было в его высохшем лице. У Лоры задрожали губы, но она сдержалась и не заплакала. Она вдруг все поняла и не побежала за Барканом и за Ольгой Ивановной, а осталась с Левиным. Теперь его нельзя было оставлять.

К Ольге Ивановне пошел, прихрамывая и торопясь, толстый полковник.

– Залив! – неожиданно громко и властно сказал Левин.

– Пойдем, Александр Маркович, – быстро сказала Лора, – пойдем, я вас отведу и халат вам дам. Пора уже, да, правда?

Она взяла его под руку и повела в пустую палату здесь же на втором этаже. Он должен был успокоиться. Они бы дали ему хлоралгидрат и уложили в постель, тогда бы он не увидел того, что хотел увидеть. А она понимала больше, чем они.

На пороге он остановился. Какая же это предоперационная! И солнца слишком много. И сердце бьется невыносимо.

– Послушайте! – сказал он. – Где же мой халат?

Александр Маркович, несомненно, отлично себя чувствовал. И Лора теперь постоянно его сопровождала, в этом не было ничего удивительного. Если бы только прекратить эту чепуху с сердцем.

На минуту он присел. Ему надо было приготовить себя к работе, к операции. А комната все-таки изменилась, что бы ни говорила Лора. И свету слишком много, слишком солнце бьет в глаза. Этак оперировать будет невыносимо.

И халат они задерживали.

– Халат! – приказал он. – Будет халат или нет?

Сердце его отвратительно сжималось. И перехватывало горло, и в груди было тоже больно, но что это значит для человека, который идет работать. Последнее время он работал, преодолевая и не такие боли.

– Мне дадут халат? – спросил он.

Лора держала халат в руках. Привычным движением он подставил голову под шапочку. И шапочку ему тоже надели. Потом, подняв ладони и повернув их вперед, точно они были стерильными, он сделал шаг, еще шаг, и тотчас же огромный, белый, бьющий свет ударил ему в грудь, сердце сделалось невероятно большим, он вздохнул наконец и, захлебываясь

светом и воздухом, медленно, словно раздумывая, упал на руки Лоры и вбежавшей Ольги Ивановны. Потом, сдирая на ходу резиновые перчатки, вошел Баркан, за ним рыдающая Анжелика, Вера и другие врачи и сестры. Александра Марковича положили на каталку. А Лора, захлебываясь слезами, быстро и тихо говорила:

– Он оперировать шел, понимаете? Он не умирать шел, а работать шел. И никакой смерти он не увидел, вот как, вы понимаете, товарищ майор?

Несколько позже в палате растворилась дверь, и вошел командующий.

– Все? – спросил он, снимая фуражку и глядя твердым взглядом на то, что было Левиным.

– Все! – ответил Баркан.

Командующий посмотрел в уже совсем спокойное лицо Левина, заметил на этом лице выражение гордости и силы и спросил:

– Халат-то этот он сам на себя надел – докторский?

Лора, все еще захлебываясь слезами, объяснила, как он пошел в операционную и как она, зная, что там оперируют, привела его сюда.

– Не надо плакать, девушка, – вдруг сказал командующий. – Зачем плакать? Все умрем, а он хорошо умер, лучше умереть нельзя.

Он посмотрел в спокойное, строгое, гордое лицо и сказал совсем тихо, так, что никто не услышал:

– Прощай, подполковник. Спи.

Повернулся и, сильно сутулясь, вышел.

В четырнадцать часов пошел проливной дождь, по солнцу тотчас же выглянуло вновь, и залив опять засверкал так, что на него больно стало глядеть, и небо опять стало голубым и чистым, только вода еще долго и шумно сбегала меж камнями скалистой дороги, ведущей на кладбище, да у людей, провожающих Александра Марковича в последний путь, почернели от влаги флотские кители.

Мотор грузовика громко завывал на крутых подъемах, и шофер Глущенко говорил сидящей рядом с ним Лоре, что у него "перепускает сцепление", но Лора не слушала Глущенко и смотрела перед собою на спины офицеров, несущих на подушечках ордена Александра Марковича. У Лоры было тридцать восемь и три – она простудилась, но на похороны все-таки отправилась и поехала в кабине машины, убранной кумачом и траурными лентами.

– Как ты думаешь, Глущенко, – спросила она вдруг. – Есть вечная жизнь или ее нету?

– На одни только тормоза и надеюсь, – сказал Глущенко, – ну ничего сцепление не берет, чувствуешь? Был бы товарищ подполковник живой, попало бы мне за это дело. Во, перепускает, – во, во, слышишь? Мы с ним давеча в город ездили, так он мне сразу замечание сделал: "Глущенко, Глущенко, перепускает у тебя сцепление."

Лора не ответила.

– Ну ладно, – сказал Глущенко, – вернусь, сразу доложу начальнику гаража. А не сменил сцепление – до начальника тыла дойду. Товарищ подполковник желал, чтобы порядок навести в автохозяйстве? Желал? Ну, и будьте любезны!

Он еще прислушался к своему сцеплению и добавил:

– А насчет вечной жизни, Лариса, то так сразу не ответишь. Смотря по тому, как на свете жил и чего на нем делал.

Вновь загремел оркестр – и играл долго, до поворота дороги, по которой машины не могли идти, так тут было узко и так круто срывался к заливу обрыв. Здесь Глущенко зажал ручные тормоза, и сзади летчики открыли кузов и подняли гроб на свои могучие плечи, и он как бы поплыл над сотнями обнаженных голов, над серыми камнями и над заливом, блестящим и переливающимся внизу. Ветер свистел тут на высоте так пронзительно, что порою заглушал медь оркестра, и от этого сочетания ветра и медленных медных звуков у Лоры вдруг стеснило грудь, но она не заплакала, как плакала все эти дни, а тихо пошла вперед – среди летчиков, которые ее обгоняли в своих шлемах и комбинезонах, в капках и

унтах, с рукавицами за поясами – прямо с аэродрома, из машин, только что "из воздуха".

Тут были и замасленные техники, и доктора из первого хирургического и из терапии, тут были сестры и санитарки, Харламов, Тимохин, Лукашевич и многие другие – знакомые и незнакомые.

При входе на кладбище толпа стиснула Лору, и она оказалась рядом с Барканом. Он посмотрел на нее, как будто они сегодня еще не виделись, и сказал:

– Так-то вот, Лора, вон какие у нас дела...

В свисте морского ветра Мордвинов сказал короткую речь, и тогда все, кто тут был из военных людей, вынули пистолеты, и трижды прогремел салют – нестройный и суровый, который долго и громко повторяло эхо в скалах. Баркан тоже стрелял, и было странно видеть его руку с пистолетом, так же, впрочем, странно, как видеть стреляющих Харламова, Лукашевича, Тимохина и других докторов.

А потом, когда спускались вниз к гарнизону, Ольга Ивановна подходила то к одному человеку, то к другому и негромко говорила:

– Зайдите, пожалуйста, к нам на часок. Второй корпус, вторая парадная.

Лора уехала с Глущенко и с Анжеликой вперед, и когда все пришли с похорон, то кровати в комнате Ольги Ивановны и Анжелики были убраны и во всю комнату стояли столы, на которых как Сахаров расставлял горячие пироги, покрытые полотенцами, консервы из дополнительного пайка и разную другую снедь. И Анжелика с распухшими от слез глазами, но с деловитым выражением лица раскладывала вилки и салфетки.

Народу собралось очень много, из своих никто не садился, кроме Баркана и Ольги Ивановны; многие стояли у двери в тесноте, но никто не уходил. И Лора тоже не ушла, хоть у нее и кружилась порою голова, и Мордвинов, который говорил первую речь, казался ей то толстеньким и маленьким, то вдруг вытягивался и превращался в длинного и худого.

После Мордвинова говорил Тимохин, который знал Александра Марковича очень давно, и говорил про давние времена, про какой-то институт скорой помощи, где Левин дежурил однажды ночью и куда привезли гражданку, якобы проглотившую из ревности иголки. Рассказывая, Тимохин начал слегка улыбаться, и все за столом стали улыбаться, потому что нельзя было не улыбаться, слушая о том, как гражданка отрицала, что проглотила иголки, а Александр Маркович говорил ей, что он не может теперь ничему верить, никак не может, он должен обязательно прооперировать и найти иголки.

Чем дальше говорил Тимохин, тем дружнее смеялись гости за столом, а некоторые и смеялись и утирали слезы в одно и то же время, потому что опять увидели Левина таким, каким он был, – живым, смеющимся, веселым, быстро шагающим по госпитальному коридору...

Затем Харламов сделал сообщение о результатах испытаний спасательного костюма в Москве. Федор Тимофеевич прислал оттуда письмо. Испытания прошли успешно.

– Успешно-то успешно, – сказал Тимохин, – но не надо забывать, что там пустил крепкие корни полковник Шеремет.

– Ну и шут с ним! – жестким тенором ответил Харламов. – Мы эти корни повыдергаем, какие бы они ни были крепкие. Александр Маркович драку начал, а мы ее кончим, иначе нам стыдно будет друг другу в глаза смотреть.

– Трудно Шереметы-то выдергиваются! – вздохнул Тимохин.

И вдруг все заговорили разом. Это случилось так неожиданно, что поначалу Лора даже не поняла, о чем идет речь, и спросила у Ольги Ивановны, но она не ответила, жадно и сердито вслушиваясь в слова Лукашевича насчет какого-то дополнительного наркотизатора.

– Сестра может наркотизировать, – покраснев, закричал Баркан, – это на практике бывает очень часто. И вообще Левин доказал свою правоту не словами, а делом, – да, да, не отрицайте! Ольга Ивановна может подтвердить. И товарищ Дорош может подтвердить. И я, кстати, совершенно объективен, у нас не такие были отношения с подполковником Левиным, чтобы меня можно было упрекнуть в пристрастии. Верно, товарищ Дорош?

– Верно! – сказал Дорош. – Подтверждаю полную объективность.

– Так вот, товарищ полковник Лукашевич, – вновь закричал Баркан, – мы в нашем госпитале забыли, что такое обработка тяжелых ран конечностей под местным обезболиванием. Александр Маркович категорически.

– И совершенно правильно! – сказал Тимохин.

– А послеоперационное течение! – закричал Лукашевич. – Я на конференции утверждал и с Левиным спорил и сейчас буду спорить...

Мордвинов застучал по столу ладонью и попросил говорить потише. Ольга Ивановна сияла с полочки левинскую тетрадь, и Харламов стал ее перелистывать. Потом вслух прочитал один абзац. Баркан закурил. Кок Сахаров принес большой медный чайник с чаем и поднос с кружками.

– Прошу прочитать записки товарища Левина, – сказал Мордвинов. – Думаю, всем это интересно.

– Воскресенская, тебя на крыльцо вызывают, – шепнул Жакомбай Лоре.

Когда она выходила, Харламов начал читать.

На крыльце ее ждал высокий, черноволосый и черноглазый старшина – стрелок-радиот. Вечернее солнце заливало всю его сухую, мускулистую и статную фигуру обильным и теплым светом. Старшина смотрел на Лору прищурившись и молчал.

– Вот нашел время, – сказала Лора. – Некогда мне сейчас.

– Поминаете? – спросил старшина.

– Поминаем, – ответила Лора. – Ваших там много. Майор Плотников и майор Гурьев... Ватрушкин тоже...

– Лора, я за ответом, – почти строго скатал старшина. – Или так, или иначе...

Глаза его зажглись и погасли. Он придвинулся к ней и положил свою ладонь на ее горячее запястье. Она по привычке быстро посчитала родинки на его щеке: пять.

– А если я мамаше твоей не поправлюсь? – спросила она. – Или сестричке? Тогда как?

– Понравишься! – уверенно сказал старшина. – Об этом пусть у тебя голова не болит...

Когда Лора вернулась в комнату, Харламов закрывал левинскую тетрадь. Все молчали.

– Ну что ж, – сказал Мордвинов, – дело серьезное и весьма интересное. Я рекомендовал бы доктору Баркану продолжать ведение записей, начатых Александром Марковичем. Что же касается до вопросов общего обезболивания при обработке ранений конечностей в масштабах флотских, то мы это, разумеется, решим в ближайшее время. Ну, а потом, естественно, обратимся в Главное Управление, к высшему начальству. Так, полковник Харламов?

– Так, – твердо ответил Харламов. – И через голову Шеремета.

Все встали.

И по дороге на пирс опять заспорили с Лукашевичем, который считал, что вводить левинский метод во всех госпиталях преждевременно.

– Ну хорошо, на сегодня хватит, – сказал Мордвинов. – Вот ночью посмотрю тетрадку Александра Марковича и завтра дам настоящий бой. Дадим им всем бой, Алексей Алексеевич?

– Дадим! – уверенно и спокойно ответил Харламов.

Ленинград. 1949

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)